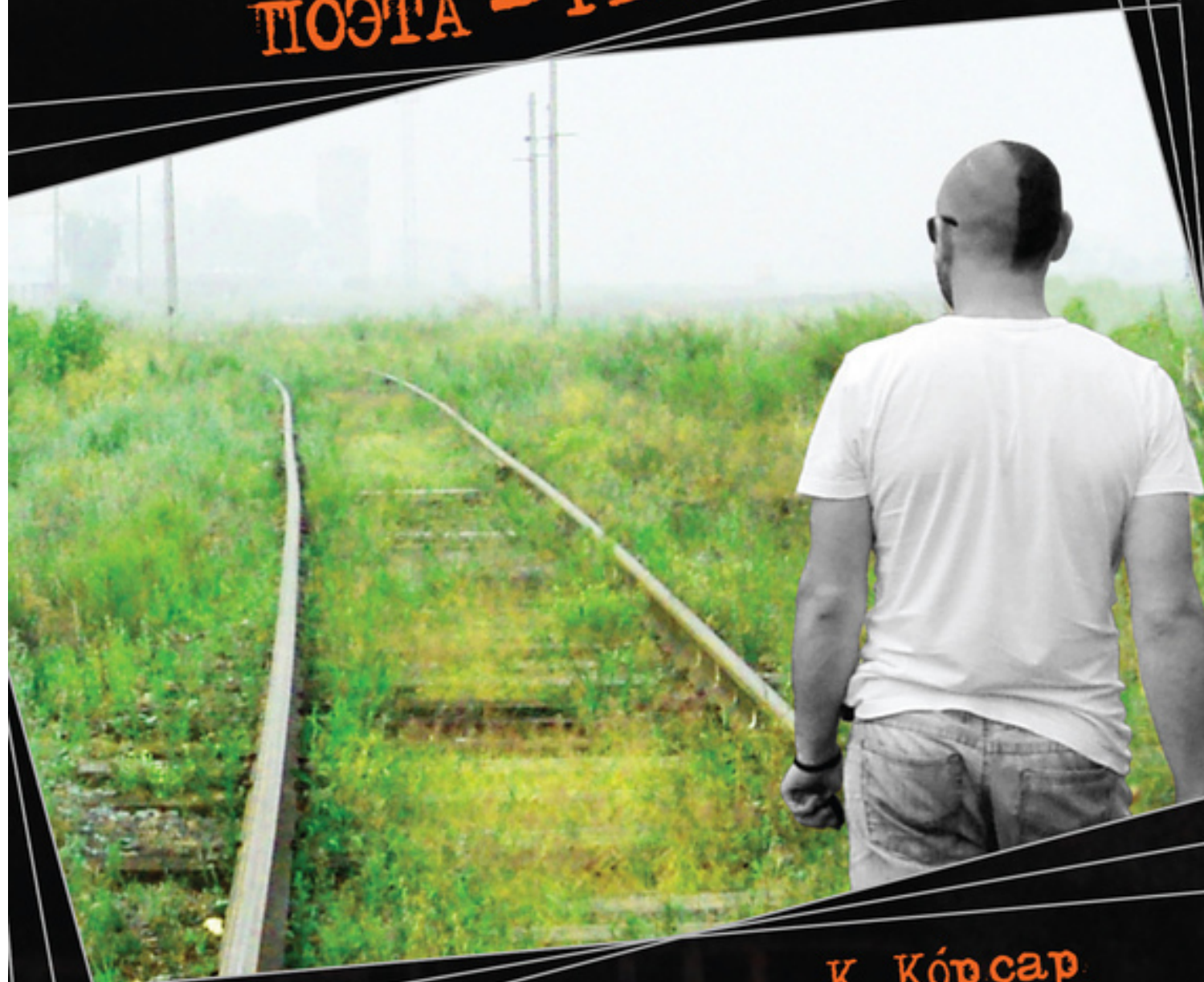


ДОСЪЕ

ПОЭТА — РЕЦИДИВИСТА



К. Корсар

На Бощи горшки

обшираят нощи

Константин Корсар
Досье поэта-рецидивиста

«Геликон Плюс»

2013

Корсар К.

Досье поэта-рецидивиста / К. Корсар — «Геликон Плюс», 2013

Объявился на свет не совсем Божий в древнем городе Асгарде Ирийском (по ошибке называемом Омском), где очень рано просветлел, обрел способности и веру, получил в наследство Диогенов фонарь, стрелы Зенона и нетленный суп апостола Петра. Суп почему-то до времени всё же истлел, способности и вера обратились в красный с сельско-хозяйственным гербом советский паспорт, свет чела стал выбивать на электронно-лучевой трубке финского телевизора «Бобокс» древнегреческие символы, принимаемые соседом раввином Шульманом за не нормативную лексику идиша. В двадцать один год вышел в астрал, после успешного возвращения откуда был хорошо принят и оформлен на должность, на царство и гаишниками. А после посещения пупа Земли, что круто распростёрт в селе «Окунёво» Омской волости, обрёл связь с Геей (не путать с геем) и утратил с реальностью; мавзолея Леннона – впал в кататонический ступор; Коркинского разреза – уверовал в орков и прочих классных мужиков с неправильным прикусом. В астрале, познакомившись с Хармсом, Довлатовым, Иоганном Трольманом и Иоганном Себастьяном Буниным, осознал, для чего живёт, но по сей день не усвоил, как ценнейшее знание выразить славянской вязью. Пытался изучать языки, законы Талеона и работы де Карта, но, вдруг ощутив свою дремучую пассионарность, занялся теорией перманентного бездействия, дабы обрести достойное место в когорте великих римских ассенизаторов и примкнуть к сонму бесчинствующих хипстеров.

© Корсар К., 2013
© Геликон Плюс, 2013

Содержание

Моя	7
Эрми	9
Диван	10
Нечего терять	12
32 x 2	13
Похищение Блестуна	14
Мысли из никуда	16
Мой друг	17
Равновесие	18
Моей КАА	20
Алла Ткачёва. Навсегда	21
Большой адронный коллайдер	23
Мысли из никуда	24
Ни в суму не всунуть	25
Гребешок	26
Богатые, розовые витцы и оружие интеллигента	30
Грёзы любви	31
Мысли из никуда	34
Песнь пессимиста	35
Кара	36
Кролик-агрессор	41
PR	42
Словом, Родина	43
Мысли из никуда	44
Забрала	45
Цинизм на похоронах	47
«Грязное» воскресенье	48
Мысли из никуда	52
Тридцатка	53
Утопленник	54
Голгофа Сибири	57
Я – декан СибАДИ	58
Мысли из никуда	60
Демократия	61
Доброе дело	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Константин Корсар

Досье поэта-рецидивиста

©Корсар К, текст, 2013

©Геликон Плюс, макет, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Моя

Я родился в удивительной семье. Папу и маму мне было превзойти не суждено даже мысленно. Внутренняя свобода в них не кипела – лавой втекала в души человеческие через её холсты и его рукописные листы. Сам вид двух этих ристалищ света и огня поражал – брат и сестра, Адам и Ева, Инь и Ян, двумерное чудо, диптих, зеркальное отражение, нечто цельное и неделимое, синергетика в действии.

И людьми-то в биологическом смысле слова они не являлись – личностями, сосудами, сущностями, меня вскормившими своими ошеломляющими порой идеями.

Навсегда уйти в последний день осени... Вместе... Они превзошли самих себя! Это и есть гениальность – себя самого оставить на обочине сайентологического вейланса и промчаться мимо, оседлав идею, мечту, эфемерную, казалось, сущность, тут же воплощая оную в реальность.

Величайшее счастье жить в окружении двух Творцов. Искусство и результат их виден всем, душа и процесс – почти никому. Порой они подолгу скрывали друг от друга и ангела, и беса в себе, молчали, играли, загадывая друг другу загадки. И в облачный полдень, сев на двухколёсных, нежно ревущих, стальных волков, унеслись в свет, вырывающийся из-под падающего серой плитой гранитного горизонта, загадав окружающим финальную загадку. Одну на двоих. Апофеоз мыслимого!

Через полчаса ливень смыл их последние земные следы на асфальте, а наутро выпал снег, выбеленными перьями покрыв земной их путь. Пропали... Растворились в окружающем мире, который так любили, оставив на распахнутой ладони свое материальное бытие и наследие, завещание потомкам.

Они любили друг друга безумно, возводя психику в пограничные состояния акцентуаций, поэтому и не могли долго быть вместе – давились чувствами, не в силах ни проглотить, ни остановиться поглощать душу, разум и тело любимого.

Забавными, повергающими в благоговейных хохот и при этом саркастически-ироничными и цинично-метафоричными были их ссоры-споры.

- Белая ведьма! – он. – Огненный голем! – она.
- Святая виновность! – Поруганный Эверест!
- Примерочная лиц! – Авантюрист-моралист!
- Депрессивный психоз на колесах! – Богоизбранный маньяк, вылепленный из асфальта!
- Бешеная скромность! – Каменное молчание на реактивной тяге!..

После пары обоюдных уколов мои вербальные боксёры всегда сразу же расходились к разным канатам мирка, самоуничтожающе переживали и творили, отковывая в мраморе октавы метафор мазка и рождаясь друг для друга и Отца каждый раз заново.

Не могут вечно юные боги жить вместе. Так и они, метая огненные шары друг другу в сердца, несколько раз расставались, с бешеной силой вжимаясь, вращая друг в друга на новом витке пращи, в которую были вложены предком царя Давида, понимая что слова – лишь стекло, не способное поцарапать алмаз их чувств.

Я не мог не стать музыкантом. В доме было все – от губной гармошки до небольшого органа, от флейты и сакса до бас-балалайки. Причём все это жило, а не просто пребывало. Но у меня был и другой путь. Осудившие себя гиперрефлексией – вот кто были эти двое, с лёгкостью проникающие в сумерки душ людских, прирожденные психологи, педагоги, друзья, верные соперничающие товарищи и помощники.

Мою музыку считают гениальной. Едва ли это так. Все, что я сделал, – исполнил мечту своих родителей, выписав на нотном стане своё самое потаённое – свою душу, свою суть –

гордость (за них) и тоску (по ним), обострённую невозможностью лицезреть огонь этих двух пальцев в ледяной пустыне алчности до традиций.

Они мечтали выразить себя и делали это в творчестве – в зашифрованном виде открывали нараспашку внутреннюю бесконечность, всё чем гордились и пестовали да чего стыдились и с чем символически боролись – и импульс, и маленьких гаргулий в себе.

Как и мои родители, однажды я пришёл в Красный Крест. Тайно, естественно, как и они. Зачем – не знаю. Наверное, хотел понять их, ощутить с ними общность. Пребывание – службой и работой помощь нуждающимся не назовешь – в таких местах двулико: болью сжимает и холодит сердце и тут же наполняет огнём душу, трепет возводя в сотые степени факториалов.

Кейптаунская миссия Красного Креста и Красного Полумесяца – крупнейшая в мире. Африка – гигантский Гарлем города с именем Земля. Родители всегда хотели туда попасть, но, видимо, не судьба... Лишь через тридцать лет я смог исполнить точку схождения линии их перспектив, пробив дорогу к неисчерпаемым запасам человеческой боли, обездоленности, несчастий и уныния да горьковатой радости от маленьких побед, помощи и участия.

Гастроли. Кейптаун. Чек с гонораром за концерт, предусмотрительно вложенный в чистый белый конверт в моём кармане. После выступления у меня было всего полчаса, и, вскочив в концертном фраке в такси, я, рассекая мысленно танцем с саблями воздух, доносящийся, как мне казалось, из самой Антарктиды, примчался к стеклянному небоскрёбу, окоченевшему на ветру у кромки Атлантики.

Вбежал в лифт, по-советски остановив итальянским бежевым лаковым ботинком уже закрывающиеся двери, и тут же погрузился в звук гонга – на сверкающих хромом дверях лифта с внутренней стороны были высокохудожественно выжжены плазменной горелкой, почти не оплавающей края металла, слегка изменённые вторые половинки псевдонимов моих родителей: Mery Nez and Key Korsá – Peoples of Africa.

Двери открылись, пьяной пулей я ввалился в холл и вновь остолбенел. В нашем доме всегда были цветы. Отец обожал розы, и плантации колючести, украшенные кровавыми венцами, в изобилии произрастали на окнах и в оранжерее. Все эти цветы он дарил, дарил лишь одному человеку – своей любимой и единственной. Она же каждый высохший лепесток хранила.

И ввалившись после хлёсткого поцелуя прошлого в огромный зал, я увидел стены, усыпанные разноцветным миллионом высохших лепестков роз, взрывающую сознание невероятностью надпись English poet's and artist's M. Nez and K. Korsá и их фото!

Я не превзошёл родителей во внутренней свободе, в масштабности стремлений, в глобальности мечты, неутомности, силе и таланте. Я превзошёл их в другом – в понимании значимости этих двух людей, уникальных в себе, вместе, с другими и при этом искренне ощущавших себя не чем-то сверхъестественным, а нормой, обычной необычной нормой.

Эрми

Саркофаг полководца Яхмеса,
Летний сад на втором этаже,
Вязь умершая, камень из Зевса,
Фавн Мурера – душа в неглиже,

Комендантской ступенью к Родену,
Стон почившего в мрамор юнца,
Вассо взор – виноградная пена,
Взгляд Вольтера – предвестник конца,

Маска-ужас в руках Мельпомены,
Тонны чащи – Романовых блажь,
Ассирийцы Сидона по стенам —
Это взрыд! Это мой Эрмитаж!

Диван

Стоял он всегда у южной стены небольшой уютной мастерской моего деда, почти у самого окна. Старый, потертый, изъеденный временем диван, на первый взгляд невзрачный, хранил он многое, представшее его тихому молчаливому угловатому взору, – годы упорного труда, восторг и озарения творца в редкие моменты единения с Создателем, тайны и откровения, горести и победы, печаль старика и первые чувства юнца, ласки и нежность, дружеские ужимки и беседы, размеренное безучастное созерцание и кипучую силу человеческого духа и разума.

Дед всегда сидел на нём только с одной стороны. Изредка он, на некоторое время лишь, доверял мягкой тугой сатиновой ткани себя полностью, отпуская тело на скрипучие пружины, а мысль ввысь – высекать из зримой пустоты нечто вполне определённое, тёплое, нужное, полезное людям и, конечно, невероятное красивое, как и всё, созданное с любовью и желанием его шершавыми морщинистыми пальцами.

Со временем там, где оседала мощная коренастая фигура деда, образовалась вмятина. На подлокотнике появилась белёсая точка в месте, где локоть слегка давил на обивку, и старое, дореволюционное, когда-то казавшееся вычурным и помпезным ложе окончательно утратило свою индивидуальность, само по себе перестав быть доминантой в интерьере. Диван часто пустовал, но и в это время казалось, что кто-то невидимый, мистический дух или сущность хозяина, восседает на нём, по привычке чуть откинувшись назад, возложив руку на красноватую ткань и свесив ладони над полом.

Однажды дивана не стало... Потому что не стало и хозяина. Годы стёрли грубой зернистой материей пыль воспоминаний, и в сознании остался лишь образ, сущность, ореол этого предмета, ушедшего в небытие, в историю, перекочевавшего из жизни в воспоминания.

Предстоял непростой разговор. Мысленные репетиции сказанного, несказанного и недосказанного ещё больше распяляли разум и не приносили ни успокоения, ни уверенности. Я шёл на встречу, как на Голгофу, где меня должны были либо превознести, либо распять как еретика и ренегата искусства на кресте, сплетённом из слов, мыслей и чувств других людей, мне почти не известных.

Знакомая улица пробежала перед глазами, тихие дворики мелькнули и тут же скрылись за массивными каменными домами. Деревья, тропинки, лавочки, исхоженный вдоль и поперёк бульвар поэтов и старое двухэтажное здание, окруженное частоколом высотных красных, как нарывы на теле, домов. Крутая лестница на второй этаж, скрипучие полы и старинные железные навесы.

Дверная ручка, коснувшись, слегка обожгла холодом пальцы, и дверь отворилась. Яркий свет выцарапал глаза, и через завесу ослепляющего тумана показались вдруг давно забытые, но знакомые очертания – тот же угловатый образ, чуть торжественный, чуть пафосный, слегка фривольный и в то же время основательный и массивный.

И всё же что-то изменилось. «Новая обивка. Перетянули... – подумал я. – Жаль...» Осветлённая деревянная основа, загрунтованная чем-то иссиня-коричневым, укравшим часть былой мощи и изысканности. Мебельные гвозди, сверкающие, как капля росы в утреннем солнечном шквале. Старые давно потускнели, но хранили в себе историю и дух времён, когда были вбиты чьей-то натруженной и мастеровитой рукой. Изменилось почти всё, но одно, самое главное, уцелело. Никто не смог вытравить из дивана его сущность, его уникальный силуэт, его биологическую память – образ прежнего хозяина.

Всё так же, как и много лет назад, до сих пор, несмотря ни на что, под уже новой светлой шёлковой тканью красуется небольшое углубление округлой формы, напоминающее о моём деде. О том, что он был, что он до сих пор есть!

Встреча прошла отменно. Воспоминания нахлынули бурным потоком и чуть не пролились ручьём из моих глаз. Мысли и чувства воспрянули, и мне на мгновение показалось, что, как и много лет назад, на старом диване, на своём любимом месте сидит рядом со мной мой дед. Всё так же самозабвенно думает о чём-то и мысленно воспроизводит всё то хорошее, что было в его жизни и что ещё предстоит ему... и мне тоже...

Нечего терять

Не потерять вершин туман в моих карманах,
Луны истошный рубль из водосточных луж,
Пенсне камлания чертёжника барханов,
Начертанным в миру коль насладился уж.

На рею-эшафот таинственно возносят
Меня, и грузный Тит ведёт неравный трёп.
И обезьяний принц, плеснув, ещё опросит
Из крынки, в приговор прочтёт своё Эзоп.

Чёрт в белом театра саганы простужен.
Электрикоголов и носороварог
Стоит, потупя меч, негаданно понужен,
Вновь вскинув надо мной мечты убогой рок.

(Мандельштам. Неизданное. 1937 год. Воронеж)

32 x 2

Повстречался я с ним на тридцать втором году. Жизни ли – не знаю. Существования скорее, поисков и учёбы, незнания и становления, сомнений и надежд или просто азартного жадного шатания по мирозданию. Он как раз к этому моменту тридцать второй год обитал в Петрограде. Мистика. Да и не только. Я сразу закинул кошку взгляда на хлипкую, низковатую фигурку, скромно перетаптывающуюся на ногу с ноги в тени приаэропортного фонаря. Он не торговался даже – покорно согласился на все условия и любезно подвёз меня до станции метро, оживлённо беседуя.

Узбек, больше походивший на бюргера в своём стареньком немецком авто. Питерский узбек – культурный, неглупый и образованный таксист-нестяжатель. Фантастика!

Подкинул он мне от своих щедрот тройку идей, обштриховал пару мест в Петрограде, тут же затянувших меня локальной гиперэмоциональностью, и в финале нашей недолгой поездки вознаграждал драматичным, поучительным и жестоким – но такова уж жизнь человеческая – повествованием.

Афганистан. Советский конвой, пришедший на помощь новым борцам за власть, умы и будущее пустынной страны индоарийских племен. Несколько боевых машин пехоты, навьюченных русскими, белорусами, татарами, украинцами, башкирами и... узбеками – такими же сыновьями Аллаха, как и армия поборников государства ислама, возглавляемая хитрым и мудрым Асламом Ватанджаром и пришедшим на смену ему бесстрашным Ахмадом Шахом «Счастливым».

«С другом мы служили. В одном городке росли, в армию тоже вместе. Учебка, служба, а затем – чего, конечно, никто не ожидал – боевые патроны, разгрузка, полная РГД и рожков, холщовая коричневая защитная накидка да сухая пыльная горная система Гундукуш под ногами, кишашая не змеями – моджахедами. Друг мой убивал их нещадно.

Уничтожал, давил, выкорчёвывал, как пни давно засохшего у тандыра хинжука. Но одного боевика в конце всегда отпускал – чтобы, рассказав о зверствах, тот вселил в собратьев ужас и поверг в бегство. Вот только примитивный этот план, как оказалось, не сработал.

Ночь пепельная, свалившись с горы, поглотила узбекского шурави, ничего – ни пятнышка крови, ни десницы – не оставив на свете. Пропал. Без вести. Через двадцать лет только я узнал подробности судьбы его, да и то финал, последний штрих линии жизни моего товарища остался в мрачном песчаном тумане Афгана.

Потери среди моджахедов росли, боевой дух улетучивался, и в зону ответственности нашей бригады Ватанджар перебросил свой верный батальон. Элиту. Разведку. Бойцы ла Иллаха быстро выяснили что за головорез жестоко расправляется с братьями-мусульманами, – не шурави он по сути, не русский, не украинец, не татарин хотя бы, а сосед-узбек – брат по вере, брат по крови, брат по красному полумировому зиндану.

Убить его – сделать мучеником, примером, героем. Бесследно выкрасть, окуная в неизвестность, – покрыть себя славой, а его позором, топча волю и обращая до конца жизни в униженного, бессловесного, жалкого раба.

Тридцать второй год я в Питере. А он до сих пор там – в пустыне Афганистана».

Похищение Блестуна

Блестун был куплен Олегом много лет назад в обычном магазине. Блестун как Блестун – не было в нём ничего особенно выдающегося, хотя нас иногда посещали мысли о его не совсем земном происхождении. Был он непонятного то ли бордово-красного, то ли коричнево-пурпурного цвета, и при взгляде на человека с Блестуном издали появлялось ощущение присутствия пред тобой чего-то среднего между римским императором, несущимся на белоснежном коне в пурпурно-алой тунике меж германцев, членом племени масаи, безуспешно пытающимся скрыться от тигра в осенних скудных кустах со своими кроваво-красными вызывающими одеждами, и бойцом отряда краповых беретов, с невозмутимым спокойствием открывающим бутылку пива глазом. В общем, было нечто такое в Блестуне, что заставляло испытывать к нему и к его обладателю подсознательное уважение и даже трепет.

В жизни очень редко появляются вещи, удовлетворяющие нас в высшей степени, срастающиеся с нами, оказывающиеся со временем нашим продолжением и нашей частичкой, замену коим очень трудно подобрать. Казалось бы, простые, незатейливые, они так нравятся, что ни на что иное мы просто внимания не обращаем. Не стоит прикипать к вещам, – говорят мудрецы, – в рай потом от земли не оторвёшься и будешь возвращаться снова и снова к примитивным бранным оковам. Получается, земные эмоции иногда оказываются сильнее вселенского разума. Такие чувства, видимо, и вызывал Блестун у Олега.

Блестун и Олег к тому дню были вместе уже порядка пяти лет, но, несмотря на столь долгий срок, были неразлучны. Поначалу Блестун не был так уважаем нами, но когда он возмужал, побывал в стычках и жизненных передрягах вместе с хозяином, покрылся благородным блеском, то заработал наш респект и отдельное прозвище. Протягивая руку Олегу, мы протягивали её и Блестуну, одобрительно хлопали по плечу хозяина – часть уважения получал и подопечный.

Блестел он довольно заметно, и многие намекали Олегу, мол, пора бы Блестуна менять на что-то более подходящее, однако Олег был непреклонен и Блестуна в обиду не давал, оберегал его, хранил как зеницу ока, вовремя мыл и чистил, дабы он ещё сильнее не заблестел – это стало бы уже совсем неприемлемым.

Надо сказать, что Блестун и вправду имел не очень презентабельный вид. Его смело можно было оставить в такси, на площадке, в незнакомом помещении и не сомневаться, что там он и останется, – вор на него бы не позарился, хотя породы он был великолепной и защищал превосходно. Олег подбирал Блестуна под себя, а так как ростом и весом природа его не обделила, то и Блестун оказался довольно значительным, и ни уборщица, ни дворник, ни тем более бездомный его трогать или перемещать ни за что бы не решились.

Рабочая неделя тянулась крайне медленно. Груз забот и рутины к пятнице стал совершенно невыносим. Нам всем требовалась разрядка, и она была запланирована на педундэндный вечер. Дружеская встреча и рассказы о рабочих проблемах и ратных подвигах плавно перетекли в безудержный симпозиум. Мы веселились, забыв обо всём – о делах, заботах, обязательствах, будущем и прошлом, периодически забывали и об окружающих нас людях, что приводило к неизбежным конфликтам и, как следствие, к киданию перчатки и вызовам на дуэль. Спонтанно возникла идея посетить какое-нибудь заведение – выпивать нам уже не хотелось, а вот зрелища весьма были желательны. Вскоре наше стремление нами же самими было и удовлетворено.

Четверо смелых, красивых (лучше всё-таки пока симпатичных) парней вошли в этот вечер в фойе клуба «Эпицентр» – эпицентр разврата, алкоголизма, наркомании и, возможно, даже гомосексуализма. Стоп! Четверо смелых красивых парней и Блестун! Ребята нехотя разделись – иначе охранник грозился не пущать. Пришлось оставить и Блестуна – его блеск не

произвёл на охранника впечатления. Друзья очутились в душном, прожжённом спиртным и никотином зале, где копошился и дёргался под оглушительный рокот, очень отдалённо напоминающий творчество Шумана и Шопена, разношёрстный сброд. Парни устроились за столиком, заказали, чем нагрузить печень, и окунулись в бестолковые речи да в творчество нетрезвого глухого барабанщика.

После нескольких походов в местный галльон и применения энного количества антимикробного орально мы решили двинуться в иное место и стали нащупывать номерки по карманам. У Олега заветной бирочки с волшебной цифрой не оказалось. Получить одежду, конечно, можно было и так, но с номерком всё же как-то сподручнее. Олег ещё раз проинспектировал все карманы, осмотрел пол вокруг, но номерка так и не обнаружил. Тогда он пошёл в гардероб, дабы оценить перспективы получения одежды. На улице была зима, и верхний тулуп был желателен даже такому, как он, весьма разгорячённому юнге.

После пары-тройки минут отсутствия Олег вернулся бледный и сильно расстроенный, сел на стул и пробормотал:

– Ребята! Блестуна украли!

– Какого Блестуна? – не сразу сообразили мы.

– Ну пуховик мой красный зимний, он засалился так, что аж блестит! Блестун мой!

И кому только мог понадобиться?!

Вот так в жизни бывает – ворует, изворачиваешься, рискуешь головой и свободой, сердце в пятки уходит, а получаешь взамен в своё распоряжение старый, красный, потёртый и засаленный пуховик огромного размера – Блестуна. Знал бы вор, какую дорогую сердцу вещь он в этот вечер получил, как ему в тот день повезло... Глаза его бы заблестели!

Мысли из никуда

Мат – тоталитарная свобода слова.

Писать – не мешки ворочать.

Основной лозунг коммунизма: «Каждому!».

Она: Любовь зла... Он: Получишь за козла!

Жирное многоточие.

Маргиналитет.

Дегенерал.

Мой друг

Он молчалив, но светел, мой товарищ.
Зову его, когда на сердце скорбь.
Он знает – нет во мне пожара,
Я просто нем; я там, где нужен. Вновь и вновь.

Он упивается со мной слезою,
Не ищет выход и вопрос не задаёт.
Лишь белоснежной вьюгой-простынёю
Укроет мир и боль во мне сотрёт.

Он всё простит, хоть не нужны прощенья,
И стерпит все – он на ветру листва,
Капли рёв и лунное затмение,
Обид палач и пастырь до утра.

Уходит, осеняемый рассветом,
Вновь заноса меня в свою скрижаль,
Не обращая в веру и безверье,
Он произносит тихое: «Печаль...»

Равновесие

Летом дела у Дениски шли плохо. Люди неохотно расставались с деньгами, и курил летом он в лучшем случае кентешку. Зимой всё было иначе, и поэтому именно это суровое время года Дениска очень любил. Жил он, по иронии судьбы, на улице Труда в районе железнодорожного вокзала и, по той же иронии, никогда не работал больше трёх-четырёх часов в день.

Трудиться летом было легко – свежий воздух, солнце, тень – если бывало слишком жарко – радовали душу, а вот доходы огорчали. Денег было заметно меньше. Зимой приходилось работать в стужу и лютый мороз, часто простывая, промерзая до самой селезёнки, но и финансы, потраченные на лекарства, окупались многократно. Сидя вечером за письменным столом под старинным зелёным сталинским абажуром и около получаса пересчитывая дневную выручку, Дениска хотел только одного – чтобы завтра поскорее наступило и он снова занял бы своё место возле ларьков, продавцов, спешащих куда-то людей, бомжей и милиции, праздных зевак и ожидающих свой поезд пассажиров, бесшабашно шатающихся по его подземному переходу на привокзальной площади.

Работа нравилась, хотя не позволяла восемнадцатилетнему парню достаточно для его возраста двигаться и частенько он чувствовал себя стариком или престарелым уважаемым пенсионером.

Зима требовала от Дениски большой выносливости, терпения и даже мужества. Многие его коллеги в холода отправлялись в вынужденные отпуска и возвращались только к мартовской сибирской капели. Дениска же, напротив, лишь ещё упорнее вжимался в своё хлипкое неразвитое тельце да, обдаваемый мелкими снежинками, застилающими глаза, жадно смотрел на проходящих мимо горожан и гостей мегаполиса.

Впервые выйдя на работу в двадцатиградусный мороз в одной рубашке, он простыл и на месяц слёг, чуть не подхватив воспаление лёгких. Мама выходила единственного сына и как могла отговаривала его снова идти в переход. Но Дениска настоял на своём. Встав на ноги, он всерьёз взялся за себя – обливался холодной водой, обтирался по утрам, когда его никто не видел, снегом и вскоре вернулся на уже ставшее ему родным за лето и осень место.

Жили они с мамой по городским меркам неплохо. Трёхкомнатная квартира, хоть и на окраине, позволяла спокойно уединяться в своей комнате, делать уроки, читать, заниматься творчеством или просто наблюдать из окна на девятом этаже за проплывающими по искусственному холму железнодорожными составами. Насыпь с взгромоздившимся на нее полотном плавно уходила вверх на мост через реку. Порой туман, накатывающий с воды, на несколько секунд выпускал товарняк или пассажирский из своего плена и снова скрывал от Дениски длинную железную змею, прибывающую в город издалека.

Отец давно умер, других родственников не было. Так и жили они вдвоём на мамину зарплату инженера строительного треста. Денег много не бывало, но и голодать не приходилось. Жизнь текла своим чередом, текла, как речка за окном, неторопливо и спокойно.

К работе Дениска всегда относился прагматично. Тот труд важен, что хорошо оплачивается, – так он считал. И всего лишь через месяц после окончания школы нашёл для себя именно такую службу. Она, на первый взгляд, была примитивной и даже унылой, но дарить людям надежду, понимание их простого и относительного счастья, позволять прохожим чувствовать нужность и значимость в мире было Дениске очень приятно. Он давал людям богово – возможность проявить сострадание, люди ему – земное: деньги. И деньги божеские. Зарабатывал Дениска как отряд ларёчных продавцов или десятков простых инженеров, таких как его мама.

Рабочий день паренёк устанавливал для себя сам. Был самым лучшим для себя контролёром – никогда не уходил домой, пока не выполнял установленный собственномысленно уро-

вень дохода. Редко когда его планы срывались, а если и бывало, тогда на следующий день Денис, не жалея времени, сил и здоровья, нагонял упущенную выгоду.

Дела шли хорошо. Мама со временем привыкла к весьма специфической работе сына и лишь изредка говорила о будущем, о сплетнях и слухах, о женитьбе и об уважаемой работе инженера, учителя или врача.

После работы Дениска шёл домой, мылся, переодевался и направлялся, как и его друзья, когда в компьютерный клуб, когда на дискотеку или куда-то ещё. Очень любил он кататься на речных трамваях, смотреть на скачки и красивых девушек, которых сильно стеснялся. О работе никогда никому не рассказывал, а если и трепался, выпив лишнего, то его слова случайные знакомые принимали за злую шутку и веселились вместе с Дениской, видя в карманах у парня солидную наличность.

Поздним вечером, после очередного трудового дня и весёлого кутежа, почти уже возле дома к Дениске подошли двое. Два парня, взгляд которых источал решимость, торс – спортивное прошлое, а сбитые кулаки – суровое настоящее, с улыбкой на лице и свинцом в голосе приказали отдать все деньги, что были в карманах, и больше не показываться в переходе. Денис закричал и тут же получил удар в почку, попытался закричать второй раз и, схватившись за голень, упал, скорчившись от боли.

Он не умел драться, уворачиваться от ударов, и поэтому скоро его тело горело и ныло от боли. Это были его последние ощущения в жизни – страшная боль и звериный рык двух существ, методично, без неприязни, обыденно, как на тренировке, забивших его до смерти. У смерти нет косы – она мила, нежна и естественна, как рука мясника.

Зимой Дениска снимал с себя верхнюю одежду и, преодолевая мороз, в одной рубашке, без головного убора сидел на своей паперти. На бетонных ступенях подземного перехода он часами трясся от лютого влажного сибирского мороза, пока в его карманах не оказывалось нужное количество пахнущих, как ничто другое в мире, разноцветных бумажек с водяными знаками.

Как много видел он доброты в своей жизни, как много сочувствия, понимания и помощи ему доставалось. Его искренно жалели – неповзрослевшего, убогого, раздетого, измождённого парня, просящего милостыню. Он получал от прохожих всё то, что не доставалось тысячам бездомных, обитающих в подвалах, брошенным детям из домов ребёнка, как будто специально вынесенных на окраины городов и посёлков с глаз долой. Дениска сидел в одном из самых проходимых подземных переходов города. Тысячи глаз смотрели на него за день и сотни рук помогали, чем могли, иногда отдавая предпоследнее.

Добро и зло в жизни должны уравновесить друг друга, и когда это происходит, жизнь человека кончается. Всё приходит в равновесие: вода течёт вниз, дождь падает на землю, камень превращается в пыль, дерево в пепел, душа – в равномерно вымешанный раствор, из которого Создатель лепит уже нечто совершенно иное. Жизнь Дениски кончилась, когда стрелки его личных весов сошлись, когда он познал и плохое, и хорошее, когда добро и зло уравновесили друг друга.

Моей КАА

Я там, где закаты багряны,
Лучина где тлеет в ночи
И всполохом сердце объято.
Я там, где лишь мы – я и Ты!

Где ладан неспешно струится
И крылья любви сплетены,
Где дум наших, чувств колесницы
Уносят печаль до зари...

Лишь эхо сейчас между нами
И мыслей витая струна.
Я серой бескрылою птицей
Лечу за Тобой в небеса.

Меж нами лишь эхо, лишь эхо...
Меж нами немая толпа,
Меж нами позёмка тумана —
Меж нами ничто. Навсегда!

Алла Ткачёва. Навсегда

Жизнь, несомненно, – испытание. Причём для каждого своё – индивидуальное и неповторимое, иногда лёгкое и забавное, а иногда изматывающее, неподъёмное. Невидимые учителя возводят для своих учеников высокие барьеры загадок, проблемы с узкими, тесными проходами и лабиринты невзгод, а затем с интересом наблюдают, как мы поведём себя в ситуации неопределённости и недосказанности, неясности исходных данных, условий и возможностей.

Иногда учителя заигрываются и создают преграды невероятной сложности. Они понимают, на что обрекают своих учеников. Но сами как будто ждут чуда – надеются на случай, на то, что сами они не всемогущи и не абсолютно сведущи. Ожидают от нас прорыва, чего-то невозможного, не-веданного, не-земного... Но чаще этого не происходит.

Буся появилась из ниоткуда. Алла нашла её на улице и принесла домой. Мягкий белый комочек на кровати придал жизни Аллы хоть какой-то смысл. Буся изменила всё – ночи сделала чуть теплее, дни нежнее и пушистее, утро игривым и трогательным, вечер ленивым и умиротворяющим. Алла получила друга – единственного во всем мире, который, как она думала, никогда её не предаст и не оставит.

Испытания начались в жизни Аллы слишком рано. Всемогущий Педагог, не соблюдая принцип природосообразности, взвалил на девочку то, что вынести ей было ещё не по силам, – выбил из-под её ног опору, разрушив семью. Отец пил, и Алла, войдя в мир, получила это проклятье как данность. Она ничего не могла поделать и изменить. Ей оставалось лишь отделиться от семьи и создать свой мирок – мир идеальный, где всё искренне, нежно, надёжно и красиво, да окружить его частоколом из своих стихов – острых, угловатых, колючих.

Даже талант Алла не получила при рождении – она его создала сама, а не открыла, выросла в себе, а не обрела. Наверное, только так и бывает. Талант не даётся – его познают! Её стихи – простые, но трогательные, с повторами и простейшей рифмой – переполнены болью и горечью, высохшими слезами и запёкшейся печалью. Строки обжигают, ранят, но всё же обновляют и лечат душу. Её стихи о смысле и жизни, о бессмысленности и смерти, ненависти и предательстве были её защитой и проводником в этом мире.

Чужая боль сейчас не трогает,
Свою бы нынче пережить,
Друг другу словно незнакомые,
Не успеваем нынче жить.

(Алла Ткачёва)

Не самый хороший сотовый телефон – единственное, чем обладала Алла. Это было её окно в мир, окно в другую жизнь, где такие же, как она, искали себе подобных, в социальные сети, где она жила так же искренне, по-ангельски наивно и благородно.

Однажды Буси не стало. И хоть за десять месяцев кошка стала самым родным на земле существом, Алла почти не выдавала своего горя. Она уже привыкла к потерям и одиночеству, к предательству самых родных людей, к отсутствию самих понятий «дом», «семья» и «тыл». Алла не плакала, слёзы всё равно не помогли бы – она знала это. И Алла просто ушла... Выключила однажды свой телефон и больше не включила. Ни с кем не попрощалась и не позволила сделать это другим.

Чудо жизни и свою правоту, когда ты один во всём мире, можно доказать – но доказать лишь смертью, причём своей собственной, как это сделала она – Алла Ткачёва, человек с трудной судьбой и чистой совестью, с болью в сердце и музыкой в душе. Она ушла, чтобы навсегда

остаться с нами, обрести своё право на жизнь без ужасных испытаний и свободную дорогу к Истине, потому что со смертью как с последним доводом не поспорит никто. Никто! И даже он – наш Учитель. Это был его урок.

Алла, я помню и люблю тебя!

Большой адронный коллайдер

Очень многие физики хотели бы работать на Большом адронном коллайдере, но берут туда не всех, а только самых умных. Что же остаётся делать остальным желающим?

Это не пригодившиеся манекенщицы могут пойти в проститутки или торговать мясом на базар, что, в принципе, одно и то же. Никому не нужные учителя могут пойти в дворники или уборщицы. Уволенные милиционеры – в бандиты, воры после отсидки – в адвокаты. Мэр, губернатор или президент могут, если их не посадят обратно, вообще никогда не работать, так как у них жёны и тёщи золотые.

Отвергнутые наукой физики не могут больше никуда в жизни приткнуться. И многие тихо спиваются.

Лишь избранные садятся в машину, выпивают с горя, а некоторые для просветления сознания, и решают доказать всем, что достойны работать на БАК. Они разгоняют машину побыстрее и врубаются на ней в столб (но тогда их берут только в Курчатова) или другую тачку на дороге. Выходят и начинают анализировать, из чего состоял автомобиль. Пьяных от счастья, их принимают работники ДПС и препровождают на экспертизу и в суд. Тех, кто после такого эксперимента сохранил тягу к науке, обязательно принимают на работу в CERN.

Мысли из никуда

Отдыхай на полную вертушку.

Попал в Di Ti Pi.

Пока, Тимур! Все дома!

Со всеми на ты, но на Вы.

Обнажённая женщина.

Снежная каша, чайный лед, винные заносы.

Противно естественный отбор.

Ни в суму не всунуть

Я без перчаток таю в кабаках.
Полярен всем и своему нутру.
Осатанев в мирах вельможных Оргов,
В закат Италии раздробленной бреду.

И, припадая в грязь сердец челом,
Сжираю зверя, разговляясь в тризну,
Сжигаю Дом огнём в печи мирской
И обретаю мИР как дар Марксизма.

Не уместить любовь на кончике ножа,
Ни в шляпу, ни в суму не всунуть.
Я БОМЖ любви, я просто БОМЖ а'la
Италий... Мож, в Россию сунут —

В политсортир где выплывет сильнейший
В искусстве отнюдь не познания душ.
Он кал раздаёт как источник чистейший
У узких дорожек для жёнов и муж.

(Аркадий (Адий) Кутилов. Неизданное. Омск. 1982 год)

Гребешок

Когда тебе за сорок, государство, обещавшее на днях торжественно вручить тебе ключи от отдельной трёхкомнатной квартиры и забрать от комнаты в полуразвалившемся бараке-коммуналке да поставить в очередь на авто, кануло в небытие вместе со всеми надеждами и обещаниями; работа, которой ты всю жизнь гордился, вдруг оказалась никому не нужной и зарплата превратилась в милостыню; ты похоронил ещё не до конца повзрослевшего сына, погибшего в бессмысленной драке, и жену, сгоревшую за полгода от горя, то самое время налить, выпить, закурить и основательно призадуматься, зачем же человек живёт на планете Земля.

Дядя Вова был крепким, неглупым, симпатичным мужиком. Нормальный он был, обычный. Ничем внешне особо не выделялся из толпы советских и постсоветских граждан. Только одно бросалось в глаза: был он до смешного вежливым. «Здравствуйте» никогда не сокращал до «здрасьте», а нараспев произносил это приветствие, глядя в глаза собеседнику или встретившемуся по пути знакомому, показывая искренность своих слов, лишённых даже намёка на формализм. Всегда крепко жал руку, считая, что вялое рукопожатие – удел женщин. Редко матерился, крайне редко, а если уж и сквернословил, то только по делу и только если был уверен на сто процентов в своей правоте.

Полстраны во времена его молодости работали на оборонку – это было престижно и выгодно. Дядя Вова был одним из миллионов простых трудяг и двадцать лет вкалывал на оборонном заводе, как того хотели от него Партия и Страна Советов, крутил гайки на танках. Он никогда не знал всего цикла производства сорокатонной махины и лишь иногда видел продукцию в сборе – когда пробирался тайком к выпускным воротам завода, откуда выезжали своим ходом, рыча и гудя, как огромные псы, уже полностью готовые многотонные исполины. Радуюсь, что частичка его труда уезжала по специально построенной, облицованной стальными листами дороге на близлежащий, огороженный бетонным забором испытательный полигон, он уходил с чувством собственной значимости и нужности стране. Каждый раз, когда очередная партия Т-60, а позже Т-72 и Т-80 покидала цеха, он с восхищением и одновременно с грустью выпивал, не торопясь, бутылку дешёвого портвейна, всматриваясь вдаль из своего окна на втором этаже.

В восемнадцать лет дядя Володя женился на своей бывшей однокласснице, как делали многие в то время. Особого времени бегать знакомиться и «гоняться за юбками», как он сам говорил, не было, да и Маша его любила. Так и поженились. Никакой свадьбы – роспись в книге загса, поцелуй, больше похожий на дружески-коммунистический, – и толстая женщина в сером, совершенно не праздничном платье объявила их мужем и женой. Маша была работающей и доброй женщиной. Никогда не бранилась, хоть была из простой рабоче-крестьянской среды. Жили они в мире и согласии. Вскоре появился сын.

Поначалу Вова сторонился ребёнка, считая, что не должен менять ему пелёнки или обстирывать, но через полгода привязался к маленькому человечку, очень похожему на какого-то ранее неизвестного родственника, и часто носил его на руках во время прогулок, не пользуясь коляской.

Сын подрастал. Пошёл в школу, расположенную неподалеку, а квартиру так и не предоставляли. Маша хотела второго ребенка, но жилая площадь не позволяла, а ходить по собесам и унижаться, выпрашивая лучшей доли, дядя Володя не пошёл бы никогда. Никогда он ни у кого ничего не просил – сам всего достигал, сам был за себя и свою семью в ответе и считал сие нормой, а не чем-то героическим и заслуживающим одобрения или отдельной похвалы и уважения.

– Один ребёнок – мало, – говаривал дядя Володя, – что случись, не переживём горя. Надо второго рожать. Вот квартиру дадут – обязательно второго заведём, а может, ещё и третьего.

Но мечтам не суждено было сбыться.

Началась перестройка. Началась с пространных речей, и никто не мог предположить, во что они выльются. Не было никакой конкретики, никто не знал, что делать, и поэтому ничего просто не делалось. Страна встала колом, остановилась, как жернова, не смазанные маслом и не получающие зерна для помола. Замерла и надежда дяди Володи на улучшение жилищных условий, а в девяносто первом окончательно умерла, когда государства, в котором он родился и вырос, не стало, когда правительство отказалось от всех социальных обязательств, отпустив цены и бандитов, казалось, специально выпущенных из тюрем и клоак, чтобы запугать население, удержат его страхом от недовольства и выступлений.

Конверсия и приватизация увенчали и без того нелёгкое положение дяди Володи – он фактически потерял работу. Весь завод приходил, как и раньше, в цеха к восьми утра, но только для того, чтобы прочитывать написанное от руки корявым почерком объявление о продлении административных отпусков на неопределённый срок.

Сын закончил школу, отслужил в армии. Дедовщина была страшная, как и жизнь в стране, но Ваня с честью перенёс это испытание. Бывал бит не раз ни за что, но, став старослужащим, не вымещал на других свои былые обиды. После армии вернулся другим человеком – повзрослевшим, понимающим, что надо что-то в стране и в собственной жизни менять. И изменил. Только вот изменения эти не принесли никому счастья. По стопам отца и матери, которая проработала всю жизнь санитаркой в медсанчасти, идти было бессмысленно – удовлетворения работа не приносила ни морального, ни материального, поэтому, посмотрев, как хорошо живут некоторые бывшие одноклассники, он влился в бригаду к местным уркам, что занимались рэккетом и крышеванием. На одной из первых же разборок его и убили. Предательски – воткнув нож в спину. Милиция долго разбираться не стала – перебили, мол, друг друга бандиты, и всем от этого только легче, что голову ломать. Мать пережила единственного, любимого сына лишь на полгода.

И дядя Володя запил. Крепко запил, неудержимо.

– Это и понятно, – говорили соседи, – зачем ему жить теперь. Всё, что имел, прахом пошло, вот и убивает так себя, чтобы поскорее отправиться к своей родной и любимой да хоть и взрослому, но всё же ещё такому маленькому, не познавшему радостей жизни сынишке.

Пил он со всеми, с кем мог: с косыми и горбатыми, хромыми и дурно пахнущими, со всеми, кто мог пить или у кого было что выпить. В выборе напитков также не отличался разборчивостью. Пил технический спирт, денатураты, самогон, водку, когда удавалось достать, лосьоны, брагу – всё, что приводило его в иной мир – в мир, где не было горя и печали, где не было страха, боли, страдания, где всё ясно и понятно, где правит королева Забвение.

Естественно, ни о какой работе речи не было. Жил дядя Вова тем, что найдёт на помойке, на деньги от сдачи бутылок или металла.

Бывал дядя Володя и трезвым. Странное это было зрелище. Он не производил впечатления пьяницы в такие часы, и казалось, что вчера им опорожнена последняя бутылка, что следующие двадцать-тридцать лет крепче стакана молока в его руки ничего не попадёт.

Комната, в которой он жил, постепенно превратилась в притон. Уже давно была пропита вся мебель и интерьер. Из скарба остались постель, если можно так назвать изодранный матрац в углу, и висящая на стене репродукция картины «Охотники на привале», размноженная в восьмидесятые годы для половины жителей Союза. Замка в двери давно уж не было, и к нему мог прийти в любое время всяк, кто нуждался в крыше над головой да имел с собой бутылку.

Однажды вместе с другими скитальцами с изломанной жизнью в комнату дяди Володи попала и Люся.

Выглядела она как обычная алкоголичка: пропитая баба, относительно ещё стройная, с былой красотой на лице, обезображенной выпитыми декалитрами и пьяными драками в подворотнях. На вид ей было глубоко за сорок, но все знали что на самом деле ей около тридцати

пяти. Так состарила её жизнь, а вернее, алкоголь, сигареты и проституция, которой ей приходилось заниматься в молодости, когда иного способа прокормить себя и двух малолетних сестёр у неё не было. Именно эта «работа» почти до основания выжгла ей душу, прожгла дыру, которую она и пыталась безуспешно законопатить литрами сначала ликёра и вина, потом водки и коньяка, а потом самогона и браги.

Вечер прошёл удачно. Как обычно, все напились и заснули мертвецким сном, впрочем, и бодрствующими все эти люди были мертвы – души их были умерщвлены. Но в этот вечер мир для дяди Володи изменился. Человек до конца остаётся человеком, и даже в этом омерзительном, грязном, ужасном мире есть место чистым, искренним чувствам. И они пробудились в его сердце, в его разуме. Он начал искать встреч с Люсей, стал меньше пить, чтобы сэкономить на бутылку, для того чтобы угостить её прозрачным ядом, который она почитала высшей ценностью, покупал «Тройку» вместо «Беломора», выпросил у кого-то расчёску и мыло, чтобы хоть немного привести себя в порядок.

В той среде не было места любви или дружбе, сочувствию или сопереживанию – был лишь алкоголь, заглушавший всё, все боли и горести, но одновременно, не разбираясь, уничтожавший все хорошее, ещё сохранившееся в человека. Эту плату вносил каждый, кто старался напиться и забыться, – личность уничтожалась со временем полностью, уничтожалось и злое, и доброе в человеке. Видимо, доброе не может существовать в человеке отдельно, без бед и горестей, без злости и греха, так же как ион долго не может быть в свободном состоянии и должен либо аннигилировать, либо соединиться с чем-то диалектично противоположным себе.

Конечно же, дядя Вова и Люся не спешили кинуться в объятия друг друга, пожениться, бросить пить и зажечь счастливой жизнью, но у них появилось, пожалуй, самое ценное в жизни человека – надежда, надежда на понимание, на заботу, на искренность, на поддержку, вновь появилось будущее. И надежда стала творить с ними маленькие чудеса. Они преобразились – не сразу, не вмиг, а постепенно, как будто помолодели лет на пять-десять, хотя всего лишь смыли с себя и своей одежды грязь месяцев, проведённых на полу, в грязных углах, в подворотнях. Им, как ни странно, стали завидовать те, с кем вчера они делили бутылку или нехитрую конуру, и зависть других ещё больше сделала их похожими на людей.

– Значит, мы не самые плохие, живём не хуже всех! – сказал как-то Люсе дядя Вова, откупоривая очередную бутылку.

Они всё так же пили, но теперь уже более осознанно – вдвоём, ради общения, а не как раньше – ради самой выпивки, хоть и в компании, но каждый наедине со своим горем внутри и своими проблемами, от которых уходили индивидуально. Они стали разговаривать и делиться тем, что пережили; от этого впервые в жизни захотелось перестать пить, уже становилось легче, выговорившись, они отпускали свою боль в самостоятельный полёт, и она не принадлежала уже только им. Разговаривая, они понимали, что жизнь не кончилась – ещё идет и они могут ещё многое успеть сделать, если не будут одни.

– У меня завтра день рождения, – услышала как-то Люся, – придёшь?

– Конечно, приду, – улыбаясь ответила она, – и даже подарю тебе подарок.

– Да не надо. Я всё организую. Главное, приходи, – попытался было отговорить её дядя Володя, но Люся настояла на своём.

– Я хочу, чтобы ты был у меня красивый. Жди меня с презентом в семь вечера, – сказала она интригуяще.

Но в семь она не появилась. И в восемь, и в девять...

Вова волновался. Мысли, что она больше не придёт, лезли в голову, к утру он выпил все запасённое днём и решил, что она просто посмеялась над ним, попила, пожила и была такова.

– Пропитая потаскуха, – говорил он в сердцах, – как я мог так попасться, как ребенок? Вот гадина.

Он вышел из дома и пошёл знакомой улицей, высматривая бутылки или то, что плохо лежало и представляло хоть какую-то ценность. Палкой он ворошил небольшие горки снега, надеясь, что в них притаилась бутылка или банка, – как грибник, он ворошил белую листву в поисках желанного подосиновика или груздя.

Вдруг увидел мигающий синий фонарь вдалеке.

«Милиция. Лучше держаться от нее подальше», – подумал Вова и хотел было свернуть в проулок, но что-то потянуло на этот опасный, но одновременно манящий мерцающий огонёк. Подходил ближе и видел людей в форме, врача, ожидающего чего-то, людей в штатском, видимо, зевак, вспышки камер. Предчувствие беды прокатилось в нём волной. Он подходил всё ближе и всё больше боялся увидеть, что же там произошло, но неведомая сила заставляла побороть страх.

Подойдя совсем близко, он заметил окровавленное тело, вокруг которого, как на шабаше, плясали шаманы в синих кителях со звёздами на плечах, ритуальные танцоры в белых халатах, кружила толпа зевак, старающихся впитать в себя энергию, источаемую ещё не покинутым душой недавно умершим. Тело было накрыто простынёй, пропитавшейся кровью, как скатерть густым кетчупом, снег испачкан кровавыми каплями. «Кто бы это мог быть? – спросил он себя, – не повезло бедняге». Из-под покрывала торчала только рука, и, чтобы рассмотреть её, он подошёл поближе и тут же отшатнулся, как будто увидел руку самой смерти. Это была её рука! Без сомнения, это были её морщинистые, но ещё изящные пальцы, её шерстяной оберег на запястье. В руке было что-то зажато. Вытирая глаза от слёз, дядя Вова подошёл ближе, присмотрелся и увидел нечто – в этот момент струя раскалённого металла облила его сердце, он отошёл в сторону, оперся на забор и тихо осел на мягкую, как перина, запорошенную снегом землю.

В безжизненной руке был зажат её подарок – деревянный гребешок, перевязанный маленькой красной ленточкой, тот, что мог сделать его снова красивым и сильным, весёлым, способным на поступки и мечты, мог вдохнуть душу и разум, мог вернуть свободу и веру, мог вернуть к жизни.

Богатые, розовые витцы и оружие интеллигента

Деньги, говорят, портят. Это выражение придумали завистники и нищие или нищие завистники, а обеспеченные люди придумали фразу: «В бедности трудно сохранить хорошие манеры». Вот так и живут – одни без денег и хороших манер, другие с манерами, но основательно подпорченные презренным металлом. И те и другие плевать друг на друга хотели, считают друг друга бородами пасущимися копытными.

А ведь богатые – самые несчастные люди в мире. Завистники и воры постоянно хотят у них отнять нажитое непосильным трудом. И основной задачей богатых со временем становится работа по сохранению своих капиталов. Не походы в театр или концертный зал, музей или дом литератора, не воспитание детей и забота о родных, а примитивное корпение над тем, что уже есть. Поэтому все богатые могут после разорения смело идти в охранники – суть работы они прекрасно понимают.

Налоговые инспекторы что-нибудь у богатых постоянно норовят обложить налогом. Гаишники тянутся оштрафовать. Многочисленные родственники просят помочь. Все вокруг чего-то от тебя хотят, и никто не спрашивает, чего хочешь ты, кроме, возможно, официанта да автоответчика. Короче, жизнь у богачей не чай с малиной.

Больше всего толстосумы опасаются в жизни розового витца, потому что в нём ездят не люди. Иногда, конечно, попадают пожилые женщины с внуками, но в основном в розовом витце ездят оборотни. И при виде пере-креста они впадают в ступор. Вурдалаки могут со страха без предьявы впиться в бок дорогой машине обеспеченного буржуа – и глазом не моргнут.

Также богатые боятся пролетариев и интеллигентов. Интеллигенты тоже боятся пролетариев, потому что те отороженные. В дословном переводе «пролетарий» – это тот, у кого ничего нет, кроме детородных органов. То есть и полушарий головного мозга тоже нет – только инстинкты, изредка просыпающиеся и ревущие, как медведь-шатун. Главное оружие пролетариата – булыжник. Поэтому богатые в городах постарались обезоружить пролетариев и дороги мостят теперь асфальтом.

Интеллигенты избрали для себя более изысканное оружие – донос. Его не так просто уничтожить, как булыжник, поэтому интеллигентов богачи боятся, как Сталина в тридцать седьмом кулаки. Пролетарии доносов не боятся, потому что хуже им вряд ли уже станет.

Богатым бы раздать свое богатство да стать нормальными людьми без страха и упрёка, но они слабохарактерны – им жены не разрешают транжирить. Вот и живут богачи, мучаются, страшатся за свои капиталы и света в конце тоннеля не видят.

Грёзы любви

Жизнь человека к тридцати годам становится похожа на раскрытую где-то посередине книгу. Книга эта у каждого своя, особенная, неповторимая – у кого-то напоминает толстый, не раз перелистанный томик жёстких, суровых стихов Твардовского, Брехта или разрывающих пространство словосочетаний Цветаевой, у кого-то – широкоформатную тетрадь кассира с записями «приход – расход», у третьих она только-только начата или совершенно пуста и ждёт, когда автор возьмётся за перо, когда созреет что-либо намарать своей нерешительной рукой.

Его книга к тридцати стала походить на сборник рассказов и повестей Шукшина или Чехова, в основном оптимистических, зачастую не связанных меж собой единой нитью повествования, часто противоречивых, пугающих, но всё же завораживающих своей необычностью, скрытым философским смыслом. Рассказы то бывали глубокомысленны и проникновенны, наполнены поисками истины и смысла в окружающем и внутреннем мире, то вдруг перемежались ущербным арго, злым цинизмом и эгоизмом, пасквилями и стёбом, скупой любовной лирикой и бездумным, бессмысленным самопожертвованием.

Не думал он уже, что может встретить человека, который будет вызывать какие-то новые, неизведанные до сих пор чувства, что-то необыкновенное, сильное, возвышенное, самоотрицающее, опаляющее душу, а не этюды на тему первой, ещё такой беспомощной, несамостоятельной, уязвимой и робкой, зачастую заканчивающейся душевной болью и сильнейшим на всю жизнь разочарованием в людях любви, или повторение уже пройденного когда-то в жизни. Уже не ждал он от судьбы ничего и решил, что вторая часть его книги не будет содержать ничего превосходящего по силе эмоций и чувств первую – только рассудок и здравый смысл будут повелевать им, скорее даже он – рассудком и своими рациональными идеями.

В глубине души все люди, как дети, верят в чудеса. Не может быть, чтобы жизнь катилась, как колесо, по дороге, нами самими не совсем на совесть построенной. Не может быть, что впереди нас ждёт только то, что мы сами себе, иногда не понимая истинной никчёмности и ошибочности, запланировали. Человек слишком мал, чтобы вершить даже свою собственную судьбу в таком огромном и не подвластном ему мире, слишком неразумен и ограничен, чтобы понимать истинную суть явлений. Без веры в чудеса ему не сдвинуть горы, не развернуть реку, не прожить жизнь, наконец. Вера без дел пуста, и чуда не произойдёт, если сидишь под сенью липовой аллеи. Он помнил об этом всегда и ни дня не сидел без дела, без занятия, увлекающего его, хоть и не верил уже давно в чудеса. Но однажды чудо с ним произошло, вернее, пришло в образе, не укладывающемся в его рациональное понимание мира, в образе непонятном, выходящем за рамки привычного.

Всё произошло не вмиг, не сразу, как случилось раньше. Интерес – вот что возникло вначале, и ничто не предвещало ни бури, ни тем более урагана, разразившегося примерно через год. Интерес его был странным, не похожим ни на влечение – хотя чем привлечь его в ней было предостаточно, – ни на страсть, ни на любовь. Интерес этот был похож на элементарную потребность – потребность в познании, познании чего-то неведомого, неизвестного, но одновременно близкого и тем очень манящего.

– Мои слова и поступки не трогают её! Не может быть! Не может быть! Неужели то, о чём я говорю, ей безразлично, неужели она столь меркантильна, столь пуста и поверхностна? Неужели мне лишь показалось, что передо мной человек, а не пустая бездушная кукла? – спрашивал он себя неоднократно.

Их редкие разговоры нельзя было назвать общением, но что-то ему не давало прекратить эти смешные попытки сблизиться, понять, кто она, и разобраться, что за неясные, необъяснимые, неординарные эмоции её существование у него вызывает.

Уже позже он понял, что было не так в первый год их общения. Тот скрип и трение были вызваны осторожностью и недоверием – её недоверием к людям, нежеланием открывать себя первому встречному, враждебное отношение к новому и не проверенному временем и событиями человеку.

Лишь через год что-то начало проясняться. Возможно, что-то произошло в её жизни, возможно, весна заставила её открыть частичку своей души, но всего несколько фраз, всего лишь пара взглядов – и в мгновение её необычная манера речи, интонация и взгляд подождгли его душу. Он вспыхнул, как облитый бензином сырой хворост. Сам не понял, как это произошло, сам не сразу осознал, какие эмоции она в нем разбудила или скорее привнесла извне.

Мечта, сладкий и одновременно болезненный сон происходили наяву. Сильнейший ураган разрывал на куски его душу, когда она всего лишь проходила мимо, электрический разряд пронизывал его в момент их прикосновения. Минута разговора и её взгляд казались ему чем-то божественным. Их встречи наедине, её запах, взгляд сводили с ума.

– Невероятно! Невероятно! Со мной ли это происходит? Или это всё сон? – думал он. – Нужно было прожить тридцать лет, чтобы ощутить такую палитру чувств. Почему раньше этого не было? Кто тот художник, что внёс в мой мир такие тонкие, сказочные оттенки, перемешал масло и гуашь, смёл все представления о стиле и художественном замысле чувств и эмоций? Нужно было познать столько боли и разочарований, чтобы осознать, как же она прекрасна – любовь к женщине. Позади меня всегда стояли тени других, и вдруг их не стало – они оставили меня, вернее, я отпустил их; я нашел нечто большее, нечто совершенное и прекрасное, я перестал писать этюды и написал нечто новое – ноктюрн, какого до этого дня не существовало. Нет! Это она его написала моими чувствами!

– Не бывает так! Не бывает, что и взгляды, и жизненный опыт настолько схожи. Одинаковые жизненные проблемы – ещё понятно, но стремления, и мечты, и слова наши – это совсем другое дело! – думал он. – Я либо схожу с ума, либо это какой-то большой обман или чья-то злая шутка! Так не бывает!

Оказывается, бывает.

Мир диалектичен – то, что даёт тебе силу, её же и отнимает, то, что приближает тебя к счастью, иногда сам предмет счастья изменяет до неузнаваемости, даже в проводах бегущий ток создает магнитное поле, нарастанию самого тока противодействующее. Такова жизнь! И именно чувства заставляли его сомневаться в дальнейших действиях. Он не решался ничего сделать. Боялся обидеть её, боялся нанести ей ещё одну рану, коих в её жизни уже хватало, боялся, что сильнейшее чувство, живущее в нем, очень быстро выжжет ему душу. Сгорит либо душа, либо любовь – что окажется сильнее. Безумие, но то фантастическое чувство ради любви же не давало ему решиться быть с ней, не давало подвергнуть риску её настоящее и будущее, её счастье.

Да и что он мог ей предложить? Говорить, что готов отдать всё, когда у тебя ничего нет, легко. Он готов был отдать ей свою душу, но родственная душа хороша, когда есть где жить и что есть. Рай в шалаше возможен только в самом раю, где и шалаш-то уже роскошь. А когда вокруг тебя норвежские фьорды, то душа – не самое надёжное укрытие от пронизывающего ветра и дождя, от снежной бури и умирающей в полёте колючей листвы.

Судьба не терпит нерешительных людей, она их разлучает, чтобы дать шанс преуспеть другим, чтобы хотя бы один из двоих был счастлив. Так произошло и с ними – дороги их разошлись так же неожиданно, как когда-то сошлись. Как две снежинки, подхваченные судьбой, разлетелись они по свету, и пелена тумана, темнота и неизвестность встали меж ними.

Жизнь без неё поначалу казалась адом. Он не понимал, зачем живёт и зачем возникло в нём это всепоглощающее чувство, чей разум так изошрённо хотел его измучить. Всё время мы ищем смысл, и когда нам кто-то его даёт, не требуя за свою милость ничего, мы сознательно втапываем этот дар в грязь, сознательно меняем на что-то сиюминутное, преходящее,

предпочитаем страсти рассудок, любви – комфорт, счастью – безбедную старость, крыльям – сомнения.

Со временем боль разлуки утихла, воспоминания о ней перестали оставлять рубцы и лишь нежно грели. Он дважды был женат, появились дети, дом и любимое дело, но все десять лет казались пустыми и никчёмными. Всё, чем он обладал, не представляло для него ценности. Один-единственный взгляд, улыбка и её прикосновение наедине стоили большего.

Все десять лет каждый день он мечтал о встрече с ней, мечтал обнять её, поцеловать и никогда не отпускать больше её маленькую руку. Сожалел, что не предпринял ничего, чтобы быть с ней, ничего не сказал о своих чувствах, не предложил быть вместе, не отверг сомнения и не сделал её счастливой, не сделал их счастливыми.

Однажды судьба дала ему второй шанс. Он встретил её, встретил в том месте, где никак не ожидал увидеть. Поначалу встреча разбила его, повергла в сильнейшее за всю жизнь уныние, но постепенно он понял, что теперь может бывать с любимой каждый день, – жизнь его снова обрела смысл. И он стал приходить к ней. Разговаривал и смотрел на почти не изменившееся, молодое и красивое лицо. Рассказывал о чём-то, как раньше, как десять лет назад, чувствовал её тепло, её душу, наслаждался каждой секундой, проведённой рядом с ней.

И однажды он решился.

– Я давно хотел тебе сказать, что безумно люблю тебя. Возможно, мне это только кажется, – я думал об этом. Я уже достаточно взрослый, чтобы понять, что это не иллюзия, что это не страсть и не влечение, что это не желание обладать тобой, не сочувствие и не благодарность. Я просто не могу иначе! Насколько я без тебя слаб, настолько же с тобой я силен и способен на всё, я без тебя не вижу смысла жить, ты – мой смысл жизни! Ты! – произнёс он взволнованно.

Он ждал ответа, и в этот момент тихий немолодой любезный голос нарушил тишину: «Месье. Кладбище закрывается. Уже поздно. Приходите, пожалуйста, завтра».

Он постоял ещё немного, но ничего не услышал в ответ. Уходил, но знал, что уже завтра вернётся к ней, и поэтому был спокоен. Знал – теперь они всегда будут вместе и даже смерть лишь ещё крепче их соединит. Навечно...

Мысли из никуда

Лучше быть нацией нищих героев, чем богатых тихих торгашей.

Руководитель – маленький Бог: активно проповедует и живёт на нетрудовые доходы.

Ёжик в Панаме.

Охрана – Черные воротнички.

Рас-Путин.

Френд познается в ЖЖ.

Агдам окрыляет.

Песнь пессимиста

Я долго ждал её, и вот она настала —
Пришла весна, с ней солнце и капель.
Март на дворе, текут ручьи устало.
Ещё денёк, и в дом войдёт апрель.

Потом и май уже на за горами,
За ним июнь, июль, и вот она —
Листвой опавшей в сени проникает
Осенняя ненастная пора.

За осенью короткой грянет стужа,
Мороз и снег. Земли уж не видать.
Весь мир угас, но в ожиданье чуда
Я жду весну, я жду весну опять...

Кара

Психиатрическая больница. Отделение пограничных состояний. Подъём. Больные без особого желания и без особого нежелания, будто то Будды, идущие по своему срединному пути, не спеша встают с постелей, одеваются, идут на завтрак. В столовой, выкрашенной в светло-голубые тона, получают оранжевый горох, французский суп из лягушатины, икру тюленя, некоторые – копчёный хвост нильского крокодила. После пары таблеток галоперидола и назепама всё это разнообразие превращается в чай из синего пластикового стакана да кусок хлеба с круглым, не размазанным шматом подтаявшего масла. Окончив утреннюю трапезу, больные, или, лучше сказать, отдыхающие, наводят утренний марафет и ожидают приёма у лечащего врача. Эскулап Володя Стеклов рутинно осматривает уже давно знакомые ему лица, продлевает курс лечения и с чувством выполненного долга идёт обедать.

Приём подходил к концу. Медсестра Танечка принесла карту очередного пациента. Стеклов, не заглядывая в толстый, потрёпанный жизнью талмуд, сказал знакомое: «Продляем на неделю галоперидол и хинидин», – и отодвинул карту на край стола. «У нас сегодня новенький», – сказала Танечка и положила на стол девственную тетрадь в клетку, ещё не испачканную анамнезом. Медбрат Сидоренко, здоровый и глуповатый бугай, завёл в кабинет молодого, лет тридцати пяти, мужчину, упитанного, ухоженного, с лоснящимся подбородком, чуть шурившегося от яркого света солнца, проникающего через окно. Сидоренко произнёс с ухмылкой: «Садитесь, товарищ Джованни», – властно за плечо подвёл человека к стулу и вдавил того в сиденье отточенным движением артиллериста, загоняющего снаряд в дуло гаубицы.

– Как вас зовут? – спросил Стеклов.

– Джованни Мочениго, – боязливо ответил сидящий на стуле. Сидоренко, стоящий чуть позади, протянул доктору бумагу со словами: «Вот направление от участкового врача». В бумаге мелким, плохо понятным непосвящённому почерком было выведено: «Delirium tremens, schizophrénia».

– Вот от участкового, – продолжал Сидоренко. Участковый уполномоченный характеризовал слесаря ЖЭК № 11 Дмитрия Мочева резко отрицательно, сообщал, что тот крепко пьёт, не отличается ни вежливостью, ни обходительностью с родными и не родными людьми, не чужд издоимства, мелочного вымогательства.

– Всё ясно, – сказал Стеклов. – Танечка, назначаем рисполент и смесь фенобарбитала в умеренных дозах, полный покой, постельный режим. Завтра его первым на осмотр к Кашину.

Стеклов аккуратно заполнил карточку, записал анамнез, назначенное лечение и спокойно продолжил дежурство. В течение дня несколько раз пытался вспомнить имя, которым представился пациент, но точно воспроизвести его так и не смог.

– Вот алкоголики пошли. Раньше было всё ясно – Наполеон, Ленин, Сталин, а этот начи- тался невесть чего да напился – и мерещится неизвестно кто, эго его торкнуло.

Стеклов был хорошим врачом. Называл всех алкоголиков любя «алкашки» и считал больными людьми, не был лишён сострадания к ним. Выходец из небольшого села, далекого от областного центра, он с детства тысячи раз наблюдал фантастические, поначалу неясные ему перемены в людях. Видел не раз, как здоровый, крепкий, здравомыслящий и симпатичный мужик превращался после бутылки спирта в откровенную мразь, похожую на гнилой овощ, скрещённый с вурдалаком, что постоянно восстаёт из ада для поисков очередной дозы и радуется всему, что горит, как младенец погремушке. Сам он иногда прикладывался к бутылке, но так и не понял, что хорошего в сознательном отравлении себя этиловым спиртом, которым врачи убивают микробов. Человек по сути тот же микроб, только очень большой. Побольше спирта – и он скопытится как миленький. В детстве Стеклов и решил посвятить жизнь борьбе с возлияниями. Так стал врачом – хотел помогать людям.

Придя через сутки на дежурство, Стеклов первым делом поинтересовался самочувствием нового пациента. И с удивлением узнал, что тот давеча буянил и был помещён врачом Кациным в «мягкую комнату» – комнату для буйных, получив двойную дозу «зины». От аминазина даже самый буйный больной делается кротким, как умирающий перед исповедником. Стеклов заглянул к буяну. Тот лежал привязанный к кровати, обитой войлоком. Лежал лицом вниз в смирительной рубашке. Танечка рассказала, что Дмитрий Мочев к вечеру попытался сбежать из заведения, а когда санитары его поймали, перелезающего через ограду клиники, начал кричать, что он венецианский дож, аристократ и не потерпит такого отношения к себе. Завтра же он обещал найти управу на санитаров и «прочих еретиков в белых бесовских одеждах».

После утреннего обхода Стеклов попросил медбрата Витеньку (так его все называли за доброе лицо и глаза буйвола при виде соперника) привести больного Мочева. Витенька просьбу незамедлительно исполнил. Мочев предстал перед доктором в ужасающем виде.

«Не зря аминазин так любили прописывать инакомыслящим, – подумал Стеклов. – Кацин явно перестарался с двойной дозой».

– Как ваше самочувствие?

– Мон синьёр... отпустите меня, мне плохо... – пробормотал еле слышно Мочев.

– Бедняга... Вам досталось... Но ничего, не бойтесь. Больше такого не повторится, но дайте мне слово больше никогда не пытаться убежать от нас, никогда не кричите и не повышайте голос.

– Я обещаю, клянусь святым Теодором! – заверещал пациент.

Стеклов записал что-то в историю болезни, припомнив, что святой Теодор был покровителем Венеции, отдал указания медсестре и попросил Витеньку оставить его с больным наедине. Тот послушно вышел. Стеклов взял ручку, посмотрел на своего невольного, растерянного и подавленного собеседника и начал вращать письменный прибор с частотой в пять секунд, как его учили в медакадемии.

Монотонное вращение предмета в руках, тихая, спокойная речь для нормального человека – успокоение, для психически нездорового же, наоборот, ситуация, в которой проявится его неадекватность. Стеклов проверял так всех. Кто начинает нервничать и дергаться при виде вращающейся монетки, тот явно нездоров. Прошло две минуты – результата не было. Стеклов медленно и спокойно заговорил.

– Так вас зовут Джованни?

– Да, именно так, мон синьёр, – подобострастно пролепетал сидящий на стуле.

– И вы итальянец?

– Да, именно так.

– Вы уверены в этом?

– Это несомненно, как то, что Земля плоская и стоит на трёх слонах!

– А разве она плоская?

– А разве нет? Взгляните в окно – земля плоская, а небо – это полусфера!

– А Юра Гагарин говорил, что она круглая.

– Кто такой Юрга Грин, мон синьёр?

– Хозяин соседней со мной виллы.

– Он грязный лжец. Вы ему верите? Он принёс верительную грамоту от папы Климента?

– Может, и приносил, но я не видел.

– Как же вы можете верить кому-то на слово? Времена-то какие настали беспокойные – никому доверять нельзя.

На этом Стеклов прервал беседу. «Мочев вёл себя достаточно адекватно, дискутировал логично», – отметил он в своём журнале и оставил курс лечения без изменения. Прошла неделя, вторая... Стеклов продолжал «пытать» Мочева о строении мира и всё больше убеж-

дался, что тот просто бредит. Никакая это не «белая горячка» и не «шизофрения» – ошибся участковый врач. Лишь бы на нас спихнуть – лентяй либо дилетант. Больной у своего сына взял учебник средних веков, прочитал «под мухой» страницу номер тридцать семь, где описывается, как представляли себе мир средневековые жители Европы, и под воздействием алкоголя личность, разложившись, впитала эту страницу текста, как губка. Вот и всё объяснение его теперешнему состоянию. Жалко, конечно, человека, но такое бывает. Ничего сверхъестественного.

Прошло ещё два месяца. Мочева разобрали на консилиуме. Разобрали его по кусочкам, потом сложили всё на место, ничего не перепутав, и пришли к единому мнению. Все врачи согласились с диагнозом, предложенным Стекловым. Парафренный бред – нет сомнений. Пациента поместили в отделение средних расстройств. На этом работа Стеклова была закончена.

Жизнь шла своим чередом, больные всё так же болели и выздоравливали. Некоторые переводились в другие отделения. Истории Мочева о слонах, китах, черепахах и прочих поддерживающих конструкциях Земли почти забылись, как и другой подобный бред. Земля круглая – это всем известно! Это факт! Бесспорный! Несомненный!

У Стеклова был давний школьный друг. Людями они являлись до крайности разными: друг убежденный атеист, физик по образованию и математик по призванию с широчайшим кругом интересов. Стеклов, наоборот, от Бога далеко никогда не уходил и в физике плавал только топором, хотел заниматься медициной и собирал материал для диссертации. Очередная их встреча протекала за дружескими шутками. Выпивая без фанатизма, они разговаривали то про гений Микеланджело и про ложь политиков, то про духовность Рублёва и про глобальную эволюцию, то про обратную корреляцию женской красоты и ума, то про Баклановский удар, то про адронный коллайдер. Дошло дело и до строения Вселенной.

– Коперник, Джордано Бруно... сколько жизней надо было положить, чтобы доказать человечеству элементарную истину: Земля не центр мироздания и не плоскость, – сказал с досадой и чувством глубокой тоски собеседник Стеклова.

– А многие до сих пор уверены, что Земля зиждется на китах и слонах.

– Эти пионеры науки, видимо, отдыхают сейчас в твоём пансионате? – и друзья рассмеялись.

– Да. Один бредит, что он итальянец, аристократ, и представляется Джованни Мочениго, – ухмыляясь, сказал Стеклов.

– Был такой человек. Предатель и лизоблюд. Он писал доносы на Джордано Бруно, в результате которых ученого арестовали и возвели на костёр за убеждения, спустя век ставшие бесспорной истиной. А Мочениго позже был отравлен вином. Бесславная кончина бесславного человека.

– Как причудлива жизнь: алкоголик предстаёт в образе предателя, каким он на самом деле и является для жены, детей, отца и матери, для всех окружающих; хорошая тема для диссертации!

Наутро Стеклов первым делом направился в отделение, куда он определил Диму Мочева. Попросил привести его на приём. И без лишних слов спросил: «Зачем ты предал Джордано Бруно?» Реакцию Мочева предсказать он не мог. Бедняга упал на пол, стал целовать ботинки врача, умолять простить его.

– Это из-за Джордано Бог так наказывает меня. Из-за него я здесь! Я догадывался! Прости меня, Господь! Прости, Джордано!

Мочева увели. Стеклов был поражён реакцией, ведь о Джованни Мочениго и его предательстве история сохранила очень скудные сведения и Мочев, являясь слесарем, устанавливая унитазы и ставя рваные прокладки за трёшку, едва ли когда-то с этой историей мог столкнуться. Невероятно! Откуда он мог это узнать?!

Димыч Мочев действительно очень любил влить в себя что-нибудь покрепче.

– Алкашам нужны поводы, а нормальному человеку повод не нужен. Захотел – выпил! – так он и рассуждал.

Отец Димы выпивал всю жизнь и помер в хмельном угаре, в пьяной драке. Так сказать, на боевом посту. Красота – чего ещё от жизни желать?! Для Димыча отец был непререкаемым авторитетом, поэтому заправляться спиртецким он начал лет с четырнадцати – как только ему стали отпускать. Выглядел он тогда уже на все восемнадцать.

Отец, напиваясь, запевал одну и ту же песню:

– Смотри, сынок, вот где они у меня все, – произносил он на выдохе басом, показывая огромный кулак, похожий на уродливую картошку. Всех этих интеллигентов вот где я держу. В гробу всех видал. Как выпью – они от меня разбегаются, как крысы. Трусы они все! А я – человек! Рабочий человек! Я свой хлеб не зря ем!

Хлеба, правда, он едал немного, но вот выпивал достаточно, пропивая временами не только всю зарплату, но и влезая в долги. Так что одевать и кормить семью приходилось частенько матери маленького Димы.

Однажды Димыч проснулся и ощутил какое-то новое для себя чувство. Незнакомый запах заполнял пространство. Аромат не походил ни на его «Тройной» одеколон, ни на отечественный парфюм его жены «Гвоздика», который он как-то пробовал на вкус. Нехотя открыл глаза и первый раз в жизни задумался о вреде пьянства.

– Белая горячка, не иначе! Всё! Хватит пить всякую гадость, теперь ничего дешевле «Аталыбашлы», – пробормотал сквозь распухшие губы Мочев.

Глазам его предстал вид роскошно убранной комнаты. Кровать, в которой он возлежал, улетала своей задней спинкой куда-то в небеса, промеж которых играли библейские ангелы. Вокруг ложа на дубовом полу лежали шкуры медведя, леопарда и рыси. В центре залы красовался огромный коричневый глобус. Крышка шедевра картографии была приоткрыта, и из нижней части выглядывали сосуды с дивной красоты напитками оранжевых и пурпурных тонов. Мочев быстро встал и, еле дотащив свое обрюзгшее, отравленное вчера тремя бутылками самогона тело, подошёл к круглому причудливому бару. Глобус и вправду содержал в своём чреве все напитки мира. Димыч отпил из одной бутылки, из второй, отведал манго, гранат, выпил что-то очень похожее по запаху на клей БФ и завопил: «Я в раююююю!»

На его крик вошёл человек в чёрном старомодном сюртуке и громогласно произнёс:

– Прикажете ли подавать завтрак и дневной туалет?

– Завтрак тащи! В туалет пока не жааалаю! – ответил довольный собой и ситуацией Мочев.

Доедая жареного фазана вприкуску с вяленой олениной, запивая это всё вином из горлышка кривого графина, Мочев начал припоминать вчерашний вечер. Вспомнил, как со слесарем Васей взяли «три топора», выпили, сходили ещё, нашли третьего, взяли ещё и выпили. Деньги кончились – нашли самогон и выпили, нашли ещё... На этом месте память начала давать сбой. Никак не хотела прокручивать вчерашнее кино дальше.

«Собутыльнички меня и укокошили! – подумал Димыч. – Как пить дать! Получается, я в раю – в аду бы меня так не кормили! Вот так вот друзья мои – все обвиняли меня в пьянстве, безделье, а это и есть, получается, дорога в рай.

И довольный собой и своей мирской жизнью Мочев допил бутылку вина. На старых дрожжах его развезло, и бывший слесарь, а ныне житель небес уснул сном младенца.

Стеклов никогда не интересовался судьбой больных, если, конечно, они не возвращались к нему с рецидивом. Но история Дмитрия Мочева заинтересовала. Анамнез Мочева был включён в кандидатскую, и, возможно, благодаря именно этой статистической единице Володя так удачно защитился и стал кандидатом медицинских наук. Так что Стеклов испытывал признательность к Мочеву. Часто навещал, покупал фрукты, пару раз даже втайне принёс небольшую

бутылочку вина. Но состояние Мочева всё ухудшалось. Бред становился всё детальнее, как будто он не придумывал, а вспоминал историю давно позабытой жизни. Мочев многократно пытался сбежать, но его всегда останавливали. Было ощущение, что работа слесарем не дала ему способности изворачиваться и ловчить – он всегда шёл напрямик, как аристократ, к которым он себя болезненно причислял. После побегов дозы аминазина всё увеличивались, чтобы его успокоить, и однажды сердце не выдержало. «Так он и умер – заколотый аминазином в грязной психушке», – записал в свой дневник Стеклов. А ведь было в нём что-то, что заставляло его верить, было! Каждый психиатр знает, что играет с огнём, и на сто процентов не уверен, что перед ним именно больной человек, – так он сказал как-то коллегам.

В тот же день Кащин посоветовал Стеклову взять отпуск и отдохнуть.

Жизнь Димыча текла беззаботно. Он принципиально ничего в раю не делал. Только много ел, пил ещё больше, изредка выходил гулять в сад, непременно прихватывая с собой в дорогу бутылочку-другую. Очень скоро забыл про свою жену и ребёнка, про друзей-собутыльников и стойкий запах унитазов на работе.

Однажды утром он не обнаружил на привычном месте ни вина, ни еды. Встал, открыл дверь, вышел в холл. Подошедший мужчина в чёрных бархатных лосинах протянул одежду со словами: «Вас ожидают». Мочев натянул одежду, хоть она показалась ему какой-то не райской, вышел на крыльцо. Подъехала позолоченная карета, запряжённая четвёркой чёрных рысаков. Мочев сел. Дорога длилась недолго, и, выходя из кареты, Димыч одарил кучера привычным: «Аккуратней, не картошку везешь!»

Взгляду Димыча предстала площадь, кишашая людьми.

– Похоже, партсобрание, – съязвил Мочев.

Подошёл седой старик в красном одеянии и красной круглой шапочке на темени, взял под руку и, что-то ненавязчиво говоря, вроде «мы вам весьма признательны, синьор Мочениго, послание было весьма своевременным», повёл к возвышению, где сидели ещё двадцать-тридцать человек.

– Рыла как у меня, когда я не спеша приходил закрывать воду в затапливаемой квартире, – подумал Мочев и сел рядом с разодетыми франтами.

Только тогда Мочев увидел полную картину площади, на которую прибыл. Посреди пустыря пионерский костер. В центре один из пионеров привязан к длинной изогнутой жерди вверх ногами. Мочев попросил принести вина. Сделал пару глотков и увидел, как дрова подожгли вместе с пионером. Допивая вино, Димыч слышал, как из пламени вырывалось, каждый раз всё угасая: «Сжечь – не значит опровергнуть!..» Допил вино и спокойно отправился восwoяси.

Жизнь потекла для Мочева привычным чередом. Безделье, обжорство, пьянство – в общем, рай. Он потерял счёт дням и как-то вечером попросил слугу принести ему напиток, вкус которого он не забыл бы никогда. Слуга, помедлив, ушёл и спустя несколько минут вернулся. Налил в длинный стакан жидкость оранжевого цвета с дивным ароматом.

– Как хорошо, – подумал Мочев и залпом по привычке осушил бокал. В тот момент он почему-то вспомнил слова «сжечь – не значит опровергнуть!», обращенные, как показалось тогда, именно к нему. И скорчившись от боли, как дикий зверь, пронзённый отравленной стрелой, упал.

«Так он и умер – отравленный, как собака, в своей золотой клетке», – записал в свой дневник Стеклов и захлопнул учебник истории.

Кролик-агрессор

Волк агрессивен, беспощаден
К суркам, а к кролику вдвойне,
Но кролик тоже агрессивен —
По отношению к траве.

PR

Лев Толстой очень любил путешествовать. Останавливался обычно в мотеле, платил хозяину золотой рубль, доставал из багажа заготовленную дощечку и просил прибить на стену. На дощечке его кучер Петька писал: «Здесь жил Л. Н. Толстой». И все проезжающие интересовались, кто такой Л. Н. Толстой. Так и пиарился.

Словом, Родина

В слове «Родина» то ли «одѣн»,
Возвышаясь на тысячи глав,
То ли «Один», о мой господин,
Завещает: «Родѣ», не предав!

Я ведь им обо всем промолчал —
Депутатам, стоящим в сортире, —
От концов бытия до начал,
От локтей и до чёртовой мили!

(Абрам Терц. Неизданное. 7 декабря 1981 года. Сорбонна. Париж)

Мысли из никуда

Бокальный дуэт «Витьки».

Судьба писателя – жить между молотом завязки и наковальной финала.

Он проснулся, встал и... выпил вторую.

Зависть – признание себя бессильным.

Любить – меняться и не изменять.

Искусством не занимаются – им дышат.

Основа власти – молчание.

Truhtism.

Забрала

Болезнь прогрессировала быстро. Пронзительный бабий смех, разрывающий сознание грохотом чугунного языка о стенки гигантского колокола, не давал уснуть. Смех, от которого невозможно было спрятаться, укрыться, то доводил до иступления, то холодил, замораживал всё внутри. Душа цепенела, а разум содрогался, когда вновь и вновь из тишины зала доносилось тихое и одновременно мерзкое, надменное, саркастическое: «Ха-ха-ха-ха... Чтооооо?.. Плооооохо тебе без меняяя?..»

Володя не мог смотреть телевизор, слушать радио, готовить еду и есть, просто находиться в квартире, не мог жить. Душераздирающий хохот, ужасный, страшный, сжигал его изнутри, переворачивал душу и с грохотом бил её оземь. Спасало только спиртное, но в огромных, нечеловеческих количествах. Белая жидкость с резким запахом уничтожала всё – эмоции и мысли, разум и тело, само бытие, но главное – страшный, отвратительный гогот пропадал на время, стихал, оставляя его в покое.

Он пил, пил постоянно, поглощал даже то, что не горело, лишь бы не слышать звуков, больше похожих на истерику или вопли душевнобольного, потустороннего создания, и не видеть убийственной, страшной белёсой фигуры знакомой женщины в темноте в кресле рядом с собой. Он кричал, бился в истерике, пугаясь до судорог, выбегал в чём был на улицу, ощущая незримое присутствие рядом с собой. Голос и сводящие с ума видения являлись всё чаще, всё чаще ему хотелось не жить, не чувствовать, не дышать, чтобы не напоминать никому о себе.

Обычная семья, каких миллионы, счастливо въехавшая когда-то в панельную хрущевку. Маленький сынишка, мама и папа. По вечерам выходили на лавочку у подъезда и вместе с такими же молодыми семьями обсуждали что-то, наивно мечтали и строили планы – о развитом социализме, безбедном будущем для своего ребёнка, тихой спокойной старости и маленьких внучатах, даче и машине.

Однажды Гали не стало. Реализовать далеко не горы запланированного было им уже не суждено. Морг, похороны, поминки... гранёный стакан как финал счастливой совместной жизни. Стакан... верный товарищ, который никогда не предаст и всегда поймёт, молча уводя за собой в тихую страну грёз.

Володя пил, пил всё больше и больше, ему становилось только хуже, и вскоре огонь человеческого образа его стих, а затем и потух, как тлеющий уголёк в печи. Наркологический диспансер. Психиатрическая лечебница. Белая горячка.

Лечебницей называют то место лишь формально. Тюремный режим, жёсткие нары, конвоиры в белых халатах, их мускулистые, сильные руки. Смирительная рубашка. Процедуры, ужасные инъекции. Аминазин, хлористые растворы в вену, шоковые терапии. Лечение психики через тело, душу через соматическое начало, весьма далеко отстоящее от реального человеческого сознания.

– Ко мне является Галя. Тихо опускается на кресло и смеется. Она зовёт меня с собой. То издевается, то жалеет меня и сына, то грустит, кружится в своём ведьмином шабаше. Её фигура еле видна. Мне лишь одному, и один лишь я слышу пронзительный леденящий смех.

Лечение помогло. Володя бросил пить, видения прекратились. Он стал возвращаться к обычной советской жизни, в которой не было ничего сверхъестественного, кроме ударного труда, отрицающего саму человеческую сущность и индивидуализм. Прошло несколько лет... Стал выходить на скамью у подъезда. Поначалу всё больше молчал. Постепенно начал разговаривать сначала с детьми, понемногу со взрослыми – соседями, которых едва узнавал.

– Галя... Галя... – произнес он однажды. – Она приходит ко мне. Я не пью уже несколько лет. Я здоров, а она всё равно ко мне является и смеётся, смеётся, смеётся, сидя в своём кресле...

Однажды Володя не вышел на работу, не ответил на телефон, на звонки и стук во входную дверь.

Под напором тяжёлого плеча дверь хрустнула и тихо отворилась. Свет пеленой доносился из зала. Осторожные неспешные шаги и чьё-то тяжёлое дыхание заполнили коридор. Кто-то чужой осмотрел кухню и ванную, вдохнул полной грудью затхлый запах и щёлкнул выключателем. Сделав несколько шагов, открыл прозрачную дверь, прошёл в зал и замер.

Выключенный телевизор, приглушённый свет единственной матовой лампочки в люстре, стол в углу, шкафы и антресоли, отделанные лакированным шпоном, два кресла. В одном из них сидел он. В гробовой тишине, свесив руку почти до пола, а вторую безвольно бросив на колени, окаменевшими глазами он смотрел в сторону второго кресла.

Глаза ничего уже выражали – белый снег поглотил их. Все мышцы были расслаблены. Лишь лицо сохранило отпечаток последнего, что он увидел в своей жизни. Лицо «смеялось». Смеялось, широко открыв глаза, смеялось, судорожно напрягая жилки, по-волчьи оскалив зубы; рот и сведённая гортань до сих пор, казалось, издавали страшный, нечеловеческий рык. Голова была обращена в сторону кресла. В сторону пустого кресла, где когда-то любила сидеть она...

Цинизм на похоронах

В толпе людей, одетых в чёрные цвета,
Где траур, слёзы и могильная плита,
Несу я лозунги свои: «Меня ты не забудь,
Дружище, на том свете», «В добрый путь!»

«Грязное» воскресенье

В трактире... было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане.

И. А. Бунин. «Чистый» понедельник

Не спеша мы шли по старому, чудом сохранившемуся саду. Тропинка узким ручейком уводила нас в глубь. Позади смыкались ветви деревьев, ограждая нас всё надёжней от людей, бурным потоком врывающихся в будничную жизнь, от невзгод, обыденно заставляющих забывать о себе и своих чувствах, от суеты, убивающей мысли о главном. Полдень тихий и тёплый, хотя ещё утром дул пронизывающий юго-восточный ветер и степная пыльная буря не располагала ни к прогулкам, ни к доверительной размеренной беседе. Ветра совсем не стало, когда мы подошли к реке. Небольшие облака смотрели на нас с высоты, периодически пряча от взгляда единственного свидетеля – по-летнему ещё жаркое солнце. Мы нравились облакам, и они не давали солнечным лучам отвлекать нас друг от друга.

За садом давно никто не ухаживал, и он лишился своей рукотворной упорядоченности, приобрёл вид более естественный, более живой, вид творения разумной природы, провидения, вид чуда – яблоневый сад на берегу реки. Непосвящённому он казался лишь там и тут разбросанными в хаотичном порядке деревьями с уродливо изогнувшимися ветвями. На самом деле это был искусственный, но живой свидетель былых человеческих трагедий. Когда ты находился среди нагромождения ветвей и листвы, казалось, что не деревья это вовсе, а люди, застывшие, скорчившись от боли, от тоски, холода и голода. Преданные и забытые своей страной, своими родственниками, соседями, знакомыми. Души их канули здесь, как и тела. Злые, алчные люди пытались стереть и память о них, но сад не дал этого сделать – сохранил.

Дикие яблони посажены чьей-то мозолистой, иссохшей от голода и тяжкого труда рукой. Рукой, уже построившей дом, рукой человека, вырастившего сына, понимающего и принимающего такой трагический финал своей жизни.

Мы уходили всё дальше, а сад всё не кончался, не видно было конца людскому горю, страданиям и одновременно надежде, позволяющей выживать в самые невыносимые времена. Зазвонили вдалеке колокола. Набат бил в память о невинно убиенных, замученных здесь, о, возможно, таких же, как и мы, что просто хотели жить, растить детей, дышать лесом, рекой и друг другом.

Мы шли. Разговаривали. Я смотрел на неё с умилением, поражаясь её видению мира, её жизненного опыту, её мечтам и стремлениям, глубине человека, которого раньше я знал очень поверхностно – скорее вообще не знал. Наверное, я казался ей дурачком, непрерывно улыбающимся и смотрящим на неё щенячье-волчьими глазами. Наша встреча наедине была всего второй, но уже в конце первой я понял, кем так неожиданно стала для меня эта девушка. Она мне нравилась. Нравилась слишком сильно. Больше, чем этого хотел бы мой рассудок. В её присутствии я терял над собой контроль. Меня беспокоило, что спектр моих эмоций сместился. С ней я то был слишком весел, то, наоборот, пускался в излишне пространные философские рассуждения. Не стало эмоционального центра во мне, он исчез – она его заняла, она стала мерой моих желаний и стремлений, моим эталоном и идеалом в мире.

Тропинка привела нас к обрыву, глубокому рву, преградившему путь, разделившему наш мир пополам, заставившему задуматься, куда мы с ней шли. Многие в своей жизни приходят к обрыву – к жизненному барьеру, за которым лежит неизвестность, неизвестность зовущая и одновременно настораживающая. Сильные люди преодолевают препятствие и идут дальше своим путём, слабые падают на дно оврага, смирившиеся возвращаются назад той тропой, что

пришли, и больше никогда не ищут другой дороги. Для нас этот неожиданный, нежданный ров и стал тем поворотным моментом, той границей, разделившей жизнь на до и после.

Казалось иногда, что мы с ней совершенно разные люди. Она демонстративно и вульгарно курила – я занимался спортом; я ужасно сквернословил – она старалась избегать даже цензурной брани; я не понимал музыки Чайковского и Рахманинова – она обожала; ей нравились стихи Манделштама – я был к ним абсолютно равнодушен; был излишне прямолинеен и горяч – она расчётлива и сдержанна. Такие люди не рождены быть вместе? Напротив! Именно к совершенно иному человеку интерес порой не угасает никогда, к такому же, как и ты, – очень быстро. Желание узнать её, понять ход её мыслей становилось все сильнее. После разговоров с ней я всегда что-то читал, что-то слушал, во что-то пристально вглядывался, пытаюсь уловить нечто, мне пока не видимое, а ей уже открывшееся. Слушал концерты Петра Ильича, читал стихи Осипа Эмильевича, прозу Куприна, Бунина. И с каждым днём мне хотелось быть к ней ближе, говорить с ней, слушать, смотреть на неё.

Я редко задавал вопросы – не хотел быть бестактным, лишь по обрывкам фраз понимал, чего она хочет. Как и все, она хотела любви, нежности, ласки, внимания – ничего необычного и несбыточного. Многого в ней я не понимал. Стремление путешествовать мне казалось склонностью к праздности, к перфекционизму – болезнью юности. Она была, как и я, слегка высокомерна, подвержена европейскому меркантилизму, однако не чужда тонких переживаний – могла уловить еле заметный смысл в музыке, стихах, человеческой речи. Не особо разбиралась, в отличие от меня, в науке и технике. Мы были разными берегами одного и того же кипучего океана, бурлящего, наполненного жизнью, постоянно рождающего что-то в своих глубинах. Все её достоинства вызывали во мне трепет, недостатки – уважение.

В ней кипело что-то трагическое из прошлой жизни. Казалось, её недолюбили, недопоняли, она ещё не высказала того главного, что человек обязан выплеснуть из себя. Поделиться собой – это счастье, но счастье также и получить взамен не менее значимый кусочек человеческой души. Раздавая себя без остатка, ты гибнешь, обмениваясь же своим теплом, эмоциями и чувствами, своей нежностью и заботой, знаниями и умениями, становишься богаче сам и позволяешь другому расти над собой. Я хотел, чтобы мы стали друг для друга силой, заставляющей развиваться, стремиться к лучшему, прыгать через барьеры, добиваться недостижимого совершенства, чем-то большим, чем муж и жена, друзья или учителя, чтобы мы были для каждого интересным, до конца не разгаданным миром, вдохновением, прохладой и тенью в жаркий полдень, светом и теплом камина в морозных сумерках.

Стоя на краю оврага, я взял её за руку. Тёплая, сухая ладонь впору моей. Прикосновение обожгло меня. Всё в груди сжалось, вскипело, окружающий мир пропал, потух – она его затмила. Не мог смотреть ей в глаза, мне было страшно, как никогда в жизни. Я испытывал эмоции, ранее мне неведомые, хотя многое в жизни уже пережил. Появилось ощущение заново начинавшейся истории мира, как будто все пережитое мною ранее было только прелюдией, сном.

– Можно тебя обниму? – произнёс я, стараясь не думать о её реакции на эту неоднозначную фразу.

Она могла в ответ спросить с саркастической улыбкой: «Зачем?» или с сочувственным видом предложить «быть только друзьями!», в лучшем случае произнести задумчиво: «Не рано ли?..» Возможно, она бы обиделась на меня и мы бы никогда больше не встречались и даже не разговаривали. Я не знал, что будет дальше, и ждал её реакции. Мыслей не было, и мне показалось, что ожидание моё тянулось нескончаемо долго.

– Можно, – услышал я еле слышный шёпот. И в этот момент листва, как церковный хор, запела над моей головой. Это был момент божественного венчания двух судеб, момент переплетения двух душ, двух потоков, сливающихся в единый, счастливый момент, сотворённый самим Богом, торжественный и сакральный.

Я, из дымки происходящего вокруг меня чуда, посмотрел на нее. Карие глаза с интересом и наслаждением разглядывали меня. Отводя её ладонь, скользил кончиками пальцев по её мизинцу, медленно и осторожно сжимая его, ощущая каждую складочку кожи. Пытаясь запомнить каждую секунду этих мгновений, я протянул правую руку и провёл ею по талии, прижался к ней. Я наслаждался каждой секундой. Хотел, чтобы этот миг длился как можно дольше – вечно. Снова посмотрел в глаза. Снова обнял. Прижался к щеке, поцеловал, поцеловал ещё и ещё, поцеловал уголок губ, опять обнял. Она положила руки мне на плечи, смотрела в глаза и ничего не говорила, только улыбалась.

Мы шли дальше по саду. Я держал её за руку, периодически останавливаясь, смотрел на неё, не веря своему счастью. Говорили о том, какими видимся друг другу, и что, возможно, наша встреча не случайна. Все в жизни не случайно – везде знаки, подсказки и намеки, всюду возможности, вырастающие из страданий и жертв, всюду за невзрачным что-то значимое, за малым – большое, за обидами – прозрение, за мечтами – реальность, за поворотом – новый поворот... за сигаретой – сигарета, за стаканом – стакан. Меня поражали её склонность к философским размышлениям и одновременно к меркантильному взгляду на жизнь, внешняя холодность и кипящая страсть внутри, застенчивость, маскируемая резкостью суждений и злым сарказмом, недоверием, нетерпимостью и отвращением к непонравившимся людям.

Наши встречи стали постоянными. Обычно в выходной день мы уезжали подальше от цивилизации и возвращались в мегаполис только к вечеру. Гуляли вдоль рек и озёр, с «Моцартом на воде и Шубертом в птичьем гаме», стояли среди берёз или вековых сосен с Довлатовым или Хармсом, шли по полям цветущего подсолнечника, скрывающего нас с головой, с Антониони и Феллини, объездили все церкви и монастыри с Микеланджело, Рублёвым и Ван Эйком, любовались простотой и изяществом природы, друг другом, нашими мыслями и чувствами. Я обожал, когда на улице было холодно и ненастно – тогда даже случайные люди исчезали и мир полностью принадлежал только нам, я мог согреть её своим теплом, прикоснуться лишний раз, позаботиться о ней.

Иногда мы не встречались по несколько недель или даже месяцев. Она не могла. Я не спрашивал почему, просто ждал, когда вновь её увижу. Она то с радостью соглашалась на мои предложения встретиться, то уклончиво отказывала. Казалось иногда, что она не располагает собой и не может полностью отдаться своим желаниям. Я грустил без неё, бегал в парках до изнеможения, чтобы не было сил думать о ней, работал, находя в труде хоть временное забвение, писал стихи, рассказы, продолжал заниматься наукой, встречался со знакомыми, чтобы только не быть одному. Потому что наедине со своей душой мне было невыносимо тяжело – душа рвалась к ней, не желая слышать никаких рациональных доводов.

Недалеко от города есть удивительное место. На огромном, кажущемся бескрайним поле, с одной стороны зажатом небольшим холмом, а с другой – тихой речкой, растут три берёзы. Они чудом уцелели, своей мощью смогли противостоять человеку, распахавшему землю вокруг. Берёзы эти стволами образовывали правильный треугольник, кроны перекрывались, возводя подобие древнегреческого акрополя. Речка, что текла вдалеке, из этой небольшой рощи посреди поля казалась голубым лоскутком, что обронил создатель дивного пейзажа. За рекой вырастали из земли серые трубы элеватора. Они был далеко и стоял как щит, оставленный здесь могучим героем прошлого.

Однажды я привез её в это место. День был жаркий, солнце нещадно жгло наши полуобнажённые тела. Мы шли через поле уже почти созревшей золотой ржи. Я сорвал несколько колосьев, разворошил их в ладони, вытаскивая зёрна, попробовал на вкус. Под кроной трех берёз было прохладно и спокойно, как под крышей дома из дубовых брёвен. Я расстелил покрывало и лёг. Смотря вверх, я увидел ветви деревьев, синее-синее небо, птицу, пролетающую над нами.

Она присела рядом. Молчали – говорила только природа. Рожь шептала, листва берёз и ветер вполголоса пели дуэтом. Солнце создавало световые блики на наших телах, трава стелилась мягким зелёным ворсом. Она легла рядом, положила свою голову мне на плечо, а руку на грудь.

– Обними меня, – попросила она.

Я гладил маленькую, казавшуюся иногда детской руку, тонкую шею, каштановые, естественно красивые длинные волосы. Она всё сильнее прижималась ко мне, я целовал её, обнимал. Мы были одни на многие километры. Рожь высотой почти с человеческий рост окружала нас со всех сторон, и никто не мог нам помешать. Я очень хотел быть с ней, но боялся. Боялся испортить всё, разорвать нити, соединяющие наши души, наши миры. Не хотел сделать что-то, что ей не понравится, что её обидит. И я ничего не делал – просто смотрел, наслаждался её красотой. Она заснула. Во сне чуть сжимала свою ладонь, немного царапая мне кожу. Периодически смешно морщилась, как будто кто-то прикасался к её лицу и ей было щекотно.

Что она подумает обо мне, когда проснется – что я не мужчина, что я нерешительный трус, что я ни на что не способен?

Мне стало не по себе. Укрыл её краем ткани, поцеловал, обнял. Не хотел, чтобы заканчивался день, хотел остановить время. Был в раю и не хотел его покидать, не хотел, чтобы она меня покидала.

– Я заснула... Долго спала?

– Около получаса, – ответил я.

Зевнула и потёрлась о меня носом, улыбнулась и сказала как будто обращаясь не ко мне, а к вечности:

– Как хорошо с тобой, так спокойно, так хорошо мне никогда не было. – И ещё крепче меня обняла.

Через неделю она мне позвонила, первый раз она мне позвонила. До этого такого не было. Сказала, что надо встретиться. Я, конечно, согласился. Лёгкая тревога охватила меня. Встретились в торговом центре. Прошлись вдоль стеклянных витрин. Я смотрел на наше с ней отражение и казалось, что мы созданы друг для друга, что, как на этой витрине, должны быть всегда вместе.

Мы прошли вдоль эскалатора, бесчувственно и беззвучно уносящего людей прочь. Она повернулась ко мне и сказала:

– Нам больше не надо встречаться...

Видимо, слова эти дались ей нелегко и она долго их обдумывала. Заставлять её поменять решение было делом бессмысленным – я знал это. Я было хотел ей что-то возразить, но прочитал в глазах боль и смятение, страх и предрешённость такого финала. Не стал ей ничего говорить. Мы стояли молча. Люди обходили нас, не обращая никакого внимания. Она медленно повернулась, ступила на эскалатор, и он начал медленно уносить её от меня. Душа моя уходила с ней, а я остался.

Я не жалел ни о чём – ни о том, что мы так до конца и не узнали друг друга, что не сказали друг другу многого, что не были физически близки, что не построили дом, не воспитали детей. Я не жалел и о многом другом – жалел только об одном: о том, что всё это могло случиться, но этого не было, жалел только о том, что она сказала мне тогда, стоя у обрыва: «Не надо... я не могу...»

Мысли из никуда

Я шагнул из литературы в кино естественным образом, сказав «Йохуу!».

Времена плоти и слюны, слюны и плоти.

Юмор литейщиков: Сортирное литье.

Она низачто пропала.

От мелкого человека остаётся только мелочь.

Музыка – бобровый воротник мира.

Брежнев – это Вий.

Тридцатка

Босфор, Дежнёва мыс, Свердловск,
Кизи и Тара, Солигорск,

Тамбов, Тюмень, Талык, Тура,
Дудинка, Тикси, Колыма,

Венера, Ио, Ганимед
И солнца негасимый свет,

Калининград, Сибирь, Камчатка,
Всем сообщаю: мне тридцатка!

Утопленник

Говорят, нельзя называть сына или дочь именем умершего родственника – ребёнок повторит трагическую судьбу. Суеверия и религиозные догмы до сих пор живы в обществе, пережившем коммунизм, и до сих пор большое количество людей им безропотно повинуются. Боря был не таким человеком. Был смелым, сильным, трудолюбивым. С детских лет рассчитывал только на себя и шёл вперед, никогда не оглядываясь на отставших и кричащих ему вслед: «Подожди», на плетущихся в арьергарде, клеймящих судьбу и во всём видящих плохие знаки, приметы и предзнаменования. Когда у Бори родился сын, иного имени, чем Слава, на ум не приходило, да и не могло прийти.

Боря очень любил своего старшего брата. И в тридцать лет он хранил в сердце тёплые воспоминания о мальчугане лет семи на велосипеде, что катал его давным-давно по двору и не давал в обиду соседским мальчишкам. Брат часто брал Борьку – так он звал младшего брата – на «забой», где вместе они ловили лягушек и пытались их подложить на рельсы под колёса проходящих поездов, но те в последний момент ускользали и сбегали от мальчишек. Борька частенько играл вместе со Славой и его старшими друзьями в пятнашки на чёрном, плавящемся на жарком летнем солнце асфальте и ножички на вытоптанном для таких игр цветнике.

Слава учил брата строить замки в дворовой песочнице. Любимым их занятием было сильно намочить песок водой, набранной дома или на ближайшей колонке, и «вылить» из текущей, чуть противной массы сюрреалистичное строение. Песочный раствор мальчишки набирали в ладони и постепенно выпускали. На месте, куда текла заветная жижа, постепенно вырастала фееричная башня, похожая не то на Эйфелеву, не то на башню с холстов Дали, не то на торчащий из земли изъеденный временем бивень мамонта. Ни об Эйфеле, ни о Дали или неведомых мамонтах мальчишки, конечно, ничего ещё не знали и просто наслаждались детским нехитрым творчеством, меж тем почти ничем не отличающимся от взрослого и такого же подчас бессознательного.

Как знать, может быть, именно этот детский пример и определил всю судьбу Бориса. Он стал строителем и посвятил жизнь тяжёлой, но нужной работе – превращению бесформенных глины, песка и цемента в квинтэссенцию человеческой жизни – в жильё, в дом и очаг. Повзрослев и закончив институт, лил он уже не песочные замки, а возводил монолитные бетонные башни, в которых незнакомые ему люди обретали счастье семейной жизни и домашний уют. На вид, впрочем, они были такие же сюрреалистичные, наполненные красотой и фантазией архитектора и строителей, как и детские пробы пера советских пацанов, рождённых в хрущёвскую оттепель.

Боря очень любил брата. Слава был для него дороже отца и матери, днями и ночами пропадавшими на работе, в послевоенной разрухе поднимавшими промышленность и возводящими новое здание страны советов для своих детей. Слава для Борьки являлся примером и опорой, защитником и врачом, другом и старшим товарищем, он был дверью в мир, он был этим миром – он был всем.

И всего этого однажды у Бори не стало. Слава ушёл купаться, а Борьку в тот день с собой не позвал. Ушёл, как оказалось, навсегда. Больше не вернулся – утонул. Коварный сибирский Иртыш, даже в летнее пекло поднимающий из своих глубин невероятно холодные потоки, сковал судорогой ноги мальчишке и забрал его себе, как будто в оплату от людей, в том же году по своей воле перегородивших реку бечевой гидростанции на Бухтарме.

Боря был маленьким и не сразу понял, что брата больше нет. Конечно, он плакал, но больше подражая взрослым. Слезы в детстве рождаются легко, но зачастую не несут в себе груза серьёзных эмоций. Это с возрастом каждую слезу переполняют тонны обид, горя или

усталости. Детская слеза хоть и трогательна, внутри пока ещё пуста. Лишь с годами Борька, Борис, а потом и Борис Никитич осознал всю драму семьи. Осознал горе матери, потерявшей сына, отца, гордившегося старшим больше, чем младшим, свою печать и боль об ушедшем товарище и друге.

Любовь – сильнейшее чувство, и сильно оно своей бессознательностью, нелогичностью и безапелляционностью. Любовь смывает всё: обиды, страхи, горе и боль. Любовь смывает старое, чтобы человек смог заложить новый фундамент и возвести нечто прекрасное и чудесное. Но процессом возведения занят уже сам человек, его характер, воля, смелость и работоспособность. Любовь – толчок, пинок и подзатыльник для лентяя, вдохновение для творца, любящего труд человека, но не панацея.

И это фантастическое, мощное чувство пришло однажды к Борису, чтобы изменить его мир и наполнить счастьем, весельем, оставив лишь тихую светлую грусть о былом. С любовью и временем пришли домашний уют и относительный достаток по советской плановой схеме. Пришло и счастье отцовства, отцовства ожидаемого и желанного. Сына Боря непременно захотел назвать Славой, оплатив хоть так брату за заботу, тепло, фантазии и детские совместные проказы. Вся родня, естественно, была против.

Был Боря сильным, упрямым парнем, за свои тридцать лет неоднократно убеждавшимся, что полагаться надо только на свою голову, а к чужим лишь прислушиваться. Не стал он изменять себе и на этот раз. Имя сыну дал какое считал нужным и, прислушиваясь к мудрым речам подъездных старушек, отдал чуть подросткового Славу, фантастически похожего на так и оставшегося маленьким старшего брата, в секцию плавания, чтобы обмануть судьбу и суеверия, не дать сыну утонуть, подготовить его к встрече с водной стихией.

Боря излучал счастье. Снова к нему вернулся друг из детства. Такой же озорной, быстрый и даже стремительный, ни минуты не сидящий на месте. Борис не мог нарадоваться на успехи сына. И хоть в школе Слава учился не очень, зато пловцом стал первоклассным – сильным, выносливым, неоднократным чемпионом и призёром разных соревнований. И отец окончательно забыл о предсказаниях суеверной отсталой родни.

Слава рос, а Боря как будто, наоборот, становился рядом с ним ребенком. Он не мог ему ни в чём отказать. Жена и родственники удерживали Борьку как могли, но куда там – сын и старший брат в одном лице получали всё, что хотели. Любые игрушки, забавы, дорогая даже для взрослых людей одежда – всё это было у Славы. Когда ему не исполнилось ещё и восемнадцати, у подъезда уже красовался его личный автомобиль. На белой «девятке», без прав, он был королём района, таким же королём, как когда-то его дядя на маленьком велосипеде. Машина, вино, сигареты, сомнительные знакомые без лишних сомнений и девушки без тени кокетства и комплексов – вот чего хотел Слава. И получал, даже несмотря на реакцию слишком поздно спохватившегося отца.

Боря пытался образумить вставшего на тонкий лёд, под которым плескалась всё та же бездна, сына. Тот для вида соглашался и, не веря престарелому, по его меркам, папаше – как он его любя называл, – продолжал свой путь. Слава воровал деньги, когда ему их не давали, устраивал скандалы и истерики, картинно вскрывал себе вены, чиркая лезвием лишь вблизи кровеносных сосудов, – всё лишь для того, чтобы жить для себя, жить так, как его приучил его же собственный отец, не сумевший вложить в сына своё трудолюбие, уважение к старшим, заботу о родных, мысли о будущем и о вечном. Слава жил одной минутой, одной секундой, чудом каждый раз выплывая из волн сигаретного дыма, наркотиков и спиртного.

Обычный летний вечер склонялся над городом. Слава по привычке стащил несколько купюр и, не пересчитывая, сунул в карман. Натянул кроссовки ещё до этого, чтобы быстро выскользнуть из квартиры, если его обнаружат, незаметно закрыл входную дверь и вышел на улицу. Позвонил Помидору, получившему кличку за постоянно красное лицо, и Пете, которого

на самом деле звали как-то совсем иначе. Считал их друзьями, они его – денежным мешком, с которым можно хорошо и бесплатно повеселиться.

Троица пошла знакомыми унылыми дворами в магазин. Купили водки и примчались в детский сад, где обычно и коротали вечера. Облака волной проплывали по небу, то накатываясь на мифические берега, то растворяясь бело-голубой пеной. Водка текла бурной неустойчивой горной речкой, которую Слава перескочил в два прыжка; кончившись, потекла широко, но спокойно спиртом, купленным в частных домах и разбавленным на глаз у синей колонки, торчащей из земли, как скважина минеральной воды. Из этой реки Славу неоднократно вытаскивал Помидор, каким-то чудом удерживающийся на ногах, не покоряясь накатывающимся волнам, хотя никогда не занимался плаванием.

Спиртовая река через час или два превратилась для Славы в полноводную, широкую, тихую и спокойную, наполненную самогоном. Она и стала для него роковой. Он утонул в ней, не справился с течением. Захлебнулся своими же рвотными массами, как сказали врачи, осмотрев на следующий день бездыханное тело.

Он слишком далеко заплыл – как тот, кто до него носил имя Слава, и никого не оказалось рядом, никого, кто бы мог помочь ему, вытащить из этого тихого коварного потока, просто повернув на бок, – ни друзей, ни брата, ни отца. Их не было потому, что он их в тот день, как, впрочем, и во все остальные дни, с собой просто не позвал. Он шёл один по жизни, принимая за дружбу корысть, сторонясь истинной любви и заботы. Судьба повторилась, трагически повторилась, примета сбылась мистически. И видимо, случится ещё не раз, пока мощный и коварный поток живёт в самом человеке.

Голгофа Сибири

Дикие яблони, резкий обрыв.
Речка тиха и спокойна. Надрыв,
Чувство смятенья, трагедии давней
Скрыто от всех прошлым веком. Печалью

Мир там наполнен, и время былое
Всем нам оставило что-то немое,
Что не дано нам увидеть, но всё же
Мы ощущаем там холод по коже...

Люди без Бога в душе в день воскресный,
Встав во хмелю, подпоясавши чресла,
И не раскаясь в грехах первородных,
В тех, что вершили они принародно,

Сели верхом на коней и в обитель
Монастыря Богородицы свитой
Бесовской пришли не с иконой —
С шашкою, кровью людской обagrённой.

Храм поругав, колокольни разрушив,
Место мольбы превратили в конюшни,
Место святое – в ЗК, или «лагерь»,
Где убивали людей, – в ад ГУЛАГа.

Тысяч людей, невиновных пред Богом,
Уничтожали не пулей – природой:
Пеклом, болезнями, зимнею стужей,
Тяжким трудом и бурдою овсюжьей.

Минуло время, но память людская
Всё сохранила, поднялись вновь храмы.
И словно слёзы людей убиенных,
Здесь пробудился источник целебный.

Стала для многих Голгофа Сибири
Местом духовным, отдушиной в мире,
Где продолжают лагерь и зона,
Где непохожесть считают позором,

Где нет приюта душе человека,
Только к тщеславию, к деньгам – не к свету
Мир там идёт. И по злой воле рока
Там, где был ад, теперь рай... но до срока...

Я – декан СибАДИ

Стояла середина суровой сибирской зимы. Никто уже не помнил, когда она началась, и не знал, когда ожидать её конца. Природа была безжизненна – космический холод сковал всё живое. Вот уже неделю на улицах не было видно ни случайных прохожих, ни прогуливающихся вдоль витрин пар, ни собак и кошек, куда-то бредущих по своим собачьим и кошачьим делам. Город словно вымер. Редкие птицы грелись на электрических проводах и дымящихся канализационных люках, похожих на кипящие гейзеры посреди снежной мертвой пустыни. На улице трещал снегом, пытаюсь согреться, сам ефрейтор мороз да сновали туда-сюда дымящие железные кони, лишь изредка исторгающие из своего чрева укутанных, словно капуста, во множестве одёжек людей.

По радио сообщали о ночных заморозках до минус тридцати пяти. Никто этому уже не удивлялся – для Сибири это в порядке вещей.

Наступил вечер. Валера загнал машину в гараж и быстро вошёл в дом. Крепость была у него добротная – из сосновых брёвен, источающих аромат живого хвойного леса, на массивном фундаменте, с высокими потолками и газовым отоплением. В доме было тепло и уютно. В газовом котле мелькал синий с оранжевыми язычками огонёк. Пламя завораживало, и ощущение крепкого уличного мороза быстро улетучилось. стаканом крепкого чая Валера окончательно согрелся и уселся в кресло перед телевизором. Вечер прошёл незаметно, наступила ночь, и сон окутал его сладкой пеленой.

На часах было около двух ночи, когда с улицы позвонили. Валера нехотя встал, открыл входную дверь и, не выходя во двор, крикнул: «Кто там?» На том конце крика пьяный мужской голос попытался сказать: «Здрасуйте! Я – дикан сибди! Извинить пожал...» – но Валера прервал плохо различимую речь, крикнул: «Пошёл отсюда, алкаш!» – закрыл дверь, погрузился в постель и вновь явился к Морфею.

Прошло около получаса, и звонок прозвучал вновь. Валера, резонно негодуя, оделся, снял висящее на стене ружьё и вышел к воротам. Открыл их и взглянул на стоящего перед ним индивида. Человек этот выглядел весьма примечательно. На нём не было шапки, и он прятал на тридцатипятиградусном морозе уши и часть лысины в засаленную старую телогрейку, снятую, как казалось, с убитого немцами партизана ещё в сорок втором году. Ноги были обуты в старые рваные валенки явно не по размеру. Под нехитрым верхним одеянием поблёскивали шёлковый серый костюм и белая рубашка с галстуком. На лысине красовалась свежая гематома.

– Что надо? – спросил Валера.

– Извините, пожалуйста, – заговорил уже немного протрезвевший гость, – я – декан СибАДИ. Я не помню, как тут очутился, меня избили, отобрали одежду, и я очень сильно замёрз. Не могли бы вы отвезти меня домой? Я хорошо заплачу, но только дома – у меня отобрали и все деньги.

Валера подумал, что перед ним сумасшедший или запившийся алкаш, но видя, что тот действительно очень замёрз – руки были уже почти белого цвета, – Валера завёл его в дом. На свету пригляделся к внешности визитёра. Это был импозантный, ещё не старый мужчина с лоснящейся кожей, выбритым не позднее утра подбородком, белыми как жемчуг зубами. По всему было видно, что мужчина пьян, но внешность не выдавала в нем прожжённого алкошу.

– Ты знаешь, где находишься? – спросил Валера стоящего перед ним чудака.

– Нет, – ответил, растирая отмороженные руки, незнакомец.

– А как здесь очутился, помнишь?

– Не очень. Праздновали на кафедре защиту коллеги. Потом всё как в тумане. Куда-то ехал на автобусе, помню, кто-то меня ведёт под руку, я думал – жена домой. А потом меня по голове ударили. Сняли дублёнку и норковую шапку, забрали документы и деньги, надели вот

это рваньё и выкинули на улицу. Угрожали убить, если пойду в милицию. Я шёл по незнакомым улицам, пока не замёрз, позвонил вам, вы меня прогнали. Потом я стучался к вашим соседям, потом ко вторым, к третьим, десятым, но все меня прогоняли. Только вы наконец впустили со второго раза.

– Ладно! Куда тебя везти?

– Домой! – радостно, с детской наивностью прикрикнул разодетый, как клошар, мужик.

Валера оделся, завёл машину и повёз натерпевшегося за сегодня деятеля науки домой. Мужчина немного согрелся, и сознание его опять погрузилось в пьяный угар. По пути незнакомец заснул, успев сказать адрес. Жил он на другом конце города. Отопитель работал на полную мощность и не давал морозу дотронуться до пассажира и водителя. Вскоре они были на месте. Валера позвонил в домофон. Радостная и обеспокоенная жена второпях, не успев как следует одеться, выбежала к подъезду встречать запропастившегося куда-то мужа.

Она долго благодарила Валеру за спасение любимого супруга и обещала помочь ему без проблем устроиться в Автодорожный институт, если он захочет. Валера сказал, что подумает, и, не взяв с них ни копейки, отправился в обратную дорогу.

– Институт... Зачем мне этот институт? Отучусь и стану таким же, как этот... Пьяным где-нибудь разуют да на мороз выкинут. Хорошо, если кто поможет, как я. Соседи-то вон мои помочь не поспешили. Проживу и без института – рабочие руки всегда в цене.

История эта не произвела особого впечатления на Валеру и осталась бы для него лишь очередным сном в ночи, если бы поклонник горячительного с соседней улицы не разгуливал всю следующую неделю в чуть великоватых ему дублёнке и норковой шапке. Свои обновки он вскоре пропил, и та странная ночь окончательно ушла в небытие.

Мысли из никуда

Бык-искуситель.

Японский голландец Чон ван Хоу.

Думать о грустном – жить в нём.

Не надо быть геем, если ты не Элтон Джон.

Писательское: Сборник б.я.е.

Он идеально вписался в CLK.

У тебя занять? / Тебя занять?

Демократия

Демократию придумали дикари и варвары. Готы, кельты, прочий сброд и бездельники пришли однажды в Европу, увидели Эйфелеву башню, Колизей, собор святого Петра и решили продлить свою туристическую визу. Римляне были против, но супротив поножовщины не вывезли и пошли на мировую.

Тем более что лозунги варваров-демократов «Пролетай, пролетарий!» и «Грабь ограбленных!» были многим римлянам весьма по душе.

Постепенно готы превратились в степенных англичан и французов, но богиня Гигиена им так и не покорилась, а Бахус сдался. Стали варвары в костюмах убитых англичан ходить нетрезвыми и чуть что – доставали свой длинный острый топор и орали: «Я тэбы зарэжу! Мамой клянусь!» С ними никто не мог справиться, даже их президенты. Поэтому пришлось создать им Думу, чтобы те, кто мог думать, думали, и Зрелище – телевизор, чтобы те, кто думать совсем не мог, что-то постоянно смотрели, иначе они начинали хвататься за топор без повода и рубить по-баклановски.

Даже в тюрьмах тиви поставили. Поэтому варвары, у кого его нет дома (а нет его у многих), ходят на митинги и собрания политические, чтобы попасть в тюрьгу и там насмотреться телевизора вдоволь, да подлечиться, да образование или профессию получить.

У нас в СИЗО голубых (экранов) нет, а люди у нас тоже хотят зрелищ. Вот поэтому у нас и демократия не прёт – люди боятся на митинг идти, чтобы их от ящика домашнего не оторвали.

И чтобы у нас демократия наконец ожила, нам надо сначала перерезать тех, кто перерезал римлян, потом ходить везде пьяными (это мы уже имеем) да построить качественные тюрьмы, где можно и фильм посмотреть, и диссертацию защитить, и подкачаться, как Шварц.

Доброе дело

С Нового года завалилась у меня бутылка. Основательно початая, или – если оптимистично – наполовину заполненная чем-то прозрачным, слегка пенящимся при тряске, с резким запахом, чуть щекочущим в носу.

Кто ополовинил её, уже и не вспомнить. То ли заходили.

– с радио Маяк

– Коротаяев, Притуляк

Апосля посленовогоднего банкета, дабы обсудить былое и думы мирские, то ли кто-то отлил чуток в санитарных целях, то ли уборщица не удержалась от соблазна и приложилась к вожделенному скучающему сосуду после своей вечерней влажной мессы. Но факт налицо – в бутылке осталось не более пары-тройки стопок, что, впрочем, тоже весьма и весьма недурно для любящего окропить живой водой свои члены создания божьего.

Люди подобрались вокруг всё больше непьющие, хотя у многих лица запечатлели былое и ещё не совсем ушедшее в небытие мастерство домашнего и подъездного бармена.

Бутылка простаивала, и я уже было порывался сунуть её в округлый пластиковый предмет, стоящий на полу, украшенный чёрным полиэтиленовым пакетом, ворохом мятых бумаг и рваных разноцветных листочков.

Как редко мы смотрим по сторонам! А ведь стоит только захотеть сделать хорошее – и повод сам просится нам в руки.

В тот день повод совершить благой поступок и сделать широкий жест пришёл ко мне в лице моего коллеги Владлена Кучукина, милого парня лет тридцати пяти, возраст которого определить с первого взгляда было весьма затруднительно.

Проходя по коридору мимо стеклянной стены, за коей копошилось с десятков наших милых дам, любясь искусственным галечным пляжем, выложенным городским сумасшедшим на пятом этаже кирпичной хрущёвки, я услышал тихий зов. Прозвучал он как-то необычно: негромко, сдержанно и даже застенчиво.

– Померещилось, – подумал я, но всё же чуть замедлил шаг и времени бег.

– Константи-и-ин... – вновь прозвучало позади.

Я остановился и слегка обернулся. Из темноты коридора ко мне приближалось нечто. Не то тройка хромающих гнедых с посечёнными острым камышом копытами, не то мини-паровоз, флегматично несущийся по единственному монорельсу, не то официант, желающий преподнести мне изысканный хрустальный бокал с разогретым на медленном огне и приправленным дорогим мускатным орехом бабулиным самогоном.

В общем, это был он – мой собрат, коллега по оружию, такая же, как и я, невинная жертва цивилизации – Владлен. В руках он нёс кружку, судя по испарениям, с кипятком или жидким азотом, которую то и дело ловко перекладывал из руки в руку.

Подойдя поближе, Владлен заговорил. Не помню о чём. Похоже, рассуждал о магнитострикции купрума или о промышленных противонакипных аппаратах на ТЭЦ, хотя скорее всего о чём-то совершенно ином. Слушать его и улавливать суть было непросто – воздух в метре от парня становился непригодным для живых существ. Судя по густому выхлопу, мой коллега закончил разговляться после Великого поста за четверть часа до начала рабочего дня.

Пару минут выдержав натиск алкогольного кумара, я кивнул и без слов оставил визави в одиночестве – кайфовать дальше, а сам направился куда-то вдаль, унесённый журчащим ручейком и лёгким весенним бризом, чуть не свалившим меня с ног.

Вскоре сознание прояснилось и тут же погрузилось в одну-единственную думу. Как верный ленинец, после такой знаковой встречи я мог помышлять только об одном. Мозг был загружен всего лишь одной мыслью. Как полушария коровы заполняются до краёв небольшой

скирдой сена, так и мои извилины занимало лишь одно желание – желание помочь, спасти, остановить собрата, уберечь его, вырвать из пасти зелёного змия и вернуть в мир живых непьющих мертвецов.

Но как? Сказать всё, что я думаю о его пристрастии, прямо, в лоб? Пьющие люди очень ранимы, и реакция на мои слова могла быть непредсказуемой – от ушуистского ката до кататонического ступора и ортостатического коллапса.

Передать свои опасения через кого-то? Как-то несерьёзно. Ещё анонимку написать, мол, «хватит бухать, гад» и подбросить под дверь – куда ни шло, но чтоб передавать через кого-то – уж очень несолидно.

Пока я так перебирал в голове узелки верёвочки, на глаза мне попался стеклянный початок с сине-золотистой этикеткой и дозатором. В голове тут же прозвенел маленький колокольчик.

– Владлен, зайдите ко мне, как будет свободная минутка, – произнёс я по местной переговорке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.